

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ...”

* * *

10 января 1992 года в Доме Ростовых на учредительной писательской Конференции содружества независимых государств Евгений Евтушенко так высказался о гибели СССР:

“Мы живём в особое время. Произошёл колоссальный политический катаклизм. Если образование Союза независимых государств и не укладывалось в какие-то крючкотворства, прокрустова ложа, то всё-таки мы счастливы, не только мы, но и всё человечество счастливо, что на месте бывшего Союза СССР образовалось новое содружество государств... Мы уверены, что вместе с вами соединимся в общем содружестве, которое не будет построено по пресловутому, осуждённому нами принципу “старшего брата”. Вспомним хотя бы то, что многие русские писатели защищали писателей других республик, в том числе из Прибалтики, когда партийно-бюрократическая система их угнетала; бросала за решётку борцов за незалежность Украины, – мы боролись тоже вместе за их свободу. Я вынужден вам напомнить о том, что когда-то Иван Драч приезжал в Москву ко мне для того, чтобы я написал письмо в защиту замечательного критика Ивана Дзюбы, которого преследовали за его прекрасную книгу о насильственной русификации” (из стенограммы).

Да, своей “прекрасной” книгой “Интернационализм или русификация?” Дзюба воспитывал будущих “тягнибоков” и прочих героев кровавого майдана. А о том, какими были “борцы за незалежность Украины” Иван Драч и Дмитро Павлычко, мне написал в письме из Киева украинский прозаик и фронтовик Александр Сизоненко: **“Они ведь с цепи сорвались во времена перестройки, особенно в 90-91 годах. А я всё время был с “Нашим современником”, за что и изгнали меня мои “друзья” Драч и Павлычко, перекусавшиеся в “руховцев” из Правления. И из Президиума Союза писателей Украины. Ну, а они были основателями “Руха”. А “Рух” создавался на платформе ненависти к России, к Советскому Союзу, к Славянскому братству... Теперь все ждут, что я вытру сапоги о знамёна, под которыми жил, воевал, был убит в Берлине 28 апреля 1945 года в ближнем бою на Фридрихштрассе, но почему-то выжил, пришёл в себя 9 мая под шатром медсанбата. Не дождутся недруги ни моего отречения от СССР, ни от России! Обнимаю Вас!**

Ал. Сизоненко”. 31.12.2006.

Продолжение. Начало см. в №11, 12 за 2019 г., в №1–5, 7–10 за 2020 г., в №2 за 2021 г.

Вот так разошлись в разные стороны пути двух советских писателей с украинскими фамилиями — Евтушенко и Сизоненко.

* * *

А что касается так называемого “советского интернационализма”, который якобы всю жизнь исповедовал Евтушенко, то ярче всего этот “интернационализм” проявился у него во время грузино-абхазской войны 1992 года, когда отряды грузинских уголовников, освобождённых из тюрем и надевших военную форму, под предводительством двух уголовных авторитетов Отара Иоселиани и Тенгиза Кетавани, произведённых в генералы, ворвались в Абхазию, посмевшую провозгласить свою независимость от Грузии. Население Грузии в это время составляло четыре миллиона человек, население Абхазии — всего лишь сто тысяч, и она была обречена на полное поражение в кровавой резне. О том, почему абхазы выстояли в этой неравной борьбе, написана поэма выдающегося абхазского поэта Мушни Ласуриа, который в мирное советское время совершил творческий подвиг во имя дружбы народов — перевёл на абхазский язык поэму Руставели “Витязь в тигровой шкуре”, роман в стихах Александра Пушкина “Евгений Онегин” и драгоценные для каждого православного человека страницы Нового завета... В те кровопролитные дни 1992 года Мушни Ласуриа как верный сын своего народа искал поддержки, сочувствия и помощи в сопротивлении грузинским оккупантам не у Шеварднадзе и не у Тенгиза Абуладзе, а у русских писателей — у Леонида Леонова, у Сергея Михалкова, у Вадима Кожинова — и нашёл у них эту поддержку. Он также надеялся, что его поймёт и поможет ему всемирно знаменитый поэт Евгений Евтушенко, которому в связи с его пятидесятилетием в восьмидесятых годах прошлого века народ и власти Абхазии построили и подарили прекрасную дачу в Гульрипше, на берегу моря. Однако Евтушенко ни слова не сказал об этой войне, на которой погибали лучшие сыны Абхазии. Почему? На этот вопрос Мушни ответил с горечью и душевной болью в поэме “Отчизна”:

*Но, прославлен, всюду знаменит,
Евтушенко медлит и молчит,
И молчат писатели Пен-клуба...
Что-то им мешает. И сугубо
Тайное посланье — в их молчанье,
В нём — Тбилиси весть и обещанье
Шеварднадзе сторону принять:
Мы, мол, вместе с Грузией опять!
Мы, мол, с Вашингтоном в этот час,
И Европа пусть одобрит нас!*

Вся финальная глава поэмы — это печальное повествование о том, как Евгений Евтушенко, клявшийся всю жизни в любви к Абхазии, предал и её, и всех своих абхазских друзей, и самого себя, о чём повествует его бывший абхазский друг Мушни Ласуриа, ясно видевший, что Грузия Шеварднадзе отдалается от Советского Союза, забирая с собой свою колонию — Абхазию, Аpsны, страну души.

*...Помню я Гульрипш. На берегу —
Позабить вовеки не смогу —
Дачный дом построен, как дворец!
Лаврами увенчанный певец,
Евтушенко, важный юбиляр,
От абхазов принял этот дар!*

*В ход пошёл технический прогресс —
Братскую как будто строим ГЭС!
Как иначе, ведь приехал друг —
Трудимся, не покладая рук!*

*А и то: поэту ведь полтинник!
И с друзьями гордый именинник
Празднует сегодня юбилей...
Нет ему Абхазии милей!*

*В Цебельде, на склоне гордых гор,
Где отыщется любопытный взор
Вдалеке Кодорское ущелье,
У поэта нынче новоселье!*

*И шатёр предстал в помпезном стиле
(Целую неделю возводили!).
Вид прекрасен, зодчие смелы —
Под ногами плавают орлы!*

*Думаю, писателя иного,
Мирового корифея слова,
Не найдётся, чтобы даты те
На такой отметить высоте!*

*Что ни пожелай, дадут легко,
Будь то дичь иль птичье молоко.
Свадьба гор и моря, говорят,
На былинный первозданный лад!
Реки вин, отличная еда...
Юбиляр в ударе, как всегда.
О его заслугах, встав, как встарь,
Повествует первый секретарь.
За поэта поднимает рог:
“Он не гость, он дома, видит Бог!..”*

*Все, кто был — в горах, на берегу —
Подтвердят, что я сейчас не лгу.
Юбиляр, выдавший много стран,
Не привык за словом лезть в карман.
И, торжествен, но в общенье прост,
Возглашает он ответный тост,
Молвив: “С достопамятного дня,
Как привёз Ласуриа меня,
Я горжусь Абхазией родной,
Как второю Родиной земной!
От неё, клянусь, я без ума.
Мне Сухум — как станция Зима!
Знайτε ж, люди, — я не промолчу...”
.....
Но с тех пор, как вся Апсны в беде,
Что-то с ним сродни параличу —
Он ни слова не сказал нигде!*

*Он оглох, похоже, и ослеп...
Дружеских не стало больше скреп.
Никогда уж больше, никогда,
Вновь его не встретит Цебельда!
Не плеснут здесь волны о былом,
Говоря с распластанным орлом!*

Поэма Ласуриа была написана при жизни Евгения Александровича, но, думаю, он её не читал, поскольку не до абхазских воспоминаний было нашему борцу с “партийно-бюрократической системой”, защитнику украинских “руховцев” и другу грузинских уголовников. Он всю жизнь считал, что многие

поэты – его современники и вообще писатели – обязательно должны завидовать его таланту, его литературной судьбе, его славе. И меня он зачислял в ранг завистников.

Наивный человек. Как будто у людей нет других, более серьёзных причин для отторжения, нежели зависть! Ну, вспомнить бы ему, как много лет тому назад, когда мы были с ним на родине Яшина, между нами вдруг вспыхнуло пламя взаимной неприязни.

Мы сидели большой и шумной компанией московских и вологодских литераторов в гостинице городка Никольска – только что вернулись с родины Яшина из деревни Блудново и продолжили своё праздничное общение в двухэтажном деревянном доме, в большой комнате со скрипучими полами.

Стояло раннее лето, и в распахнутые окна ветерок, дующий с реки Юг, вносил в комнату сладкие запахи отцветающей черемухи. Настроение у всех было превосходное.

Но всё испортил мой тёзка – критик Станислав Лесневский. Он встал со стаканом в руке и предложил здравицу в честь “знаменитого, великого русского национального поэта Евгения Евтушенко”. Слова Лесневского покоробили всех – всё-таки Вологодчина – родина Николая Клюева, Александра Яшина, Николая Рубцова. Бестактно...

Взглянув на улыбающегося Евтушенко, принявшего как должное грубую экзальтированную лесть, я решил вернуть своего тёзку на грешную землю:

– Да, я готов выпить за знаменитого, может быть, даже за великого, но за русского национального – никогда. Ты уж извини меня, Женя.

– А кто же он такой, по-твоему, – сорвался на провокаторский визг Станислав Стефанович Лесневский. – Если не русский, то еврейский, что ли?

– Может быть, никакой, а может быть, и еврейский. Вам лучше знать, – ответил я.

В состоянии истерики Лесневский выскочил из комнаты. Вслед за ним ушёл и великий поэт.

– Станислав! – с мягким упрёком обратился ко мне вологодский писатель Александр Грязев, – неудобно как-то. Может быть, позвать Лесневского обратно?

– Обойдётся! – отрезал я. – Ещё сам извиняться придётся...

Лесневского мы нашли лишь к вечеру, спящего тяжёлым похмельным сном в зарослях черёмухи на берегу реки. А по возвращении в Москву я вскоре получил от него письмо:

“Дорогой тёзка! Высоко ценя тебя как поэта, литератора и деятеля, я чувствую себя крайне виноватым перед тобой за свою невыдержанность в пригнопамятный день. Прими, пожалуйста, мои искренние извинения. От души желаю тебе блага, здоровья и удачи во всем задуманном.

Твой Ст. Лесневский”.

* * *

Однако своеобразная человечность в Евгении Александровиче всегда жила. Вспоминаю рассказ Межирова, как они с Евтушенко мчались к Новодевичьему кладбищу откуда-то из-за города, чтобы успеть на похороны Хрущёва. Они опаздывали, за рулём был Е. Е., который так гнал машину, так боялся, что может не успеть к этому историческому событию, что ему стало плохо – он вдруг свернул на обочину и выскочил из машины. У него началась от перенапряжения рвота... Я думаю, что в основе всех превращений, случавшихся с ним, всё-таки лежат подлинные чувства, что осуждать его за “метаморфозы” – это всё равно, что осуждать хамелеона за то, что его тело меняет цвет, чтобы слиться с окружающей средой. Это даже не расчёт, а инстинкт.

Ну, что делать, если Е. Е. жаждал нравиться всем – и русским, и еврейским, и советским. И простонародью (“граждане, послушайте меня”). И интеллигенции (“интеллигенция поёт блатные песни”). И патриотам (“хотят ли русские войны”). И русофобам (стихи о русских коалах). Правда, будучи игроком по природе, он иногда повышал ставки до предела, шёл ва-банк, как это случилось в 1963 году, когда Е. Е. издал за границей “Автобиографию раннего созревшего человека”. Банк Евтушенко не сорвал, осрамился, и пришлось

ему в Союзе писателей покаяться: *“Я совершил непоправимую ошибку... Я ещё раз убедился, к чему приводит меня позорное легкомыслие... Тяжёлую вину я ощущаю на своих плечах... Я хочу заверить писательский коллектив, что полностью понимаю и осознаю свою ошибку... Это для меня урок на всю жизнь”*. Каялся искренне.

А было ему тогда уже 30 годков, и помню, как я был поражён этим самобичеванием, как до меня дошло, что такие натуры никогда не пропадут, ни при каких обстоятельствах. Я ведь тоже рисковал, выступая на дискуссии “Классика и мы” и распространяя своё письмо о “Метрополе”, у меня ведь тоже были крупные и опасные игры с “большой идеологией”, и в ЦК меня прорабатывали, и в Союзе писателей. Но никогда и нигде я не раскаивался, потому что знал, что говорю и пишу правду. Ну, как можно каяться, если ты прав?

Но не случайно и то, что предисловие к “Автобиографии рано созревшего человека” написал не кто-нибудь, но Аллен Далес, который, видимо, сразу понял, что на таких “шестидесятников”, как Евтушенко, можно делать ставку.

Но об этой детективной истории надобно вспомнить особо.

В феврале 1963 года Евгений Евтушенко приехал с бывшей женой своего друга Галей в Европу, где опубликовал в западногерманском журнале “Штерн” и в парижском еженедельнике “Экспресс” свою тайно вывезенную из СССР “Автобиографию рано созревшего человека”, что спровоцировало буквально через месяц, в марте 1963 года, на кремлёвской встрече Н. С. Хрущёва “с деятелями литературы и искусства” извержение потоков гнева на головы “ведущих шестидесятников” — Евтушенко, Вознесенского, Аксёнова, Эрнста Неизвестного... Неумный и вспылчивый Хрущёв, оболгавший на XX съезде КПСС сталинскую эпоху, через 7 лет понял, что поторопился с разоблачением тоталитаризма и культа личности, что надо снова закручивать идеологические гайки, и устроил на этой встрече “шестидесятникам” настоящую порку.

Чтобы восстановить в памяти подробности этого скандала, я решил перечитать евтушенковскую “Автобиографию...”. Однако найти её в крупнейших библиотеках Москвы — в “Ленинке”, в “Историчке”, в “Иностранке”, в университетской “Горьковке” не удалось. Этих изданий в них просто не было ни в свободном доступе, ни в спецхранах. Тогда я по совету знающих людей отправился в Библиотеку Русского Зарубежья имени Солженицына, где мне с большим трудом отыскали не французское и не германское издания “Автобиографии...”, но лондонское, изданное во “Flegon Press” в 1964 году, попавшее в солженицынскую библиотеку из Брюсселя, из частной библиотеки некоего Леонида Левина. Потрёпанная книжечка в мягком переплётё, кем-то зачитанная, вся почёрканная, со словами на шмуцтитуле: “Дурь со свистом”, — с коротким невыразительным предисловием, подписанным инициалами “Д. Б.”, и с перепечаткой из советской прессы осуждающих Евтушенко отзывов поэта Василия Фёдорова, кратким словом Юрия Гагарина “Позор!” и статейкой секретаря ЦК ВЛКСМ тех лет Сергея Павлова, озаглавленной “Языкоблудствующий Хлестаков”.

Я быстро пробежал глазами 124 страницы хвастливого и многословного текста и сделал несколько выписок, характеризующих автора. *“Когда я вижу человека с помещичьей психологией, то мне всегда хочется тоже подпустить ему красного петуха”*. Эти слова Евтушенко написал о своём родственнике по материнской линии, который сжёг в Белоруссии помещичью усадьбу во время крестьянского бунта. Как это ни смешно, но когда началась грузино-абхазская война 1992 года, у Евтушенко сожгли в абхазском Гульрипше дачу, которую ему при советской власти построили и подарили абхазы. Как говорится, напропорочил на свою голову...

“Революция была религией моей семьи, — пишет Евтушенко в “Автобиографии...” — Мой дед Ермолай Евтушенко, полуграмотный солдат, учился в военной академии, стал комбригом, занимал крупный пост заместителя начальника артиллерии РСФСР. Последний раз я видел его в 1938 году: “Я хочу с тобой выпить!” — “За что?” — спросил я. “За революцию”, — ответил дед сурово и просто. А потом запел тягучую песню кандалников, песни забастовок, песни гражданской войны”.

Трудно поверить, что дед вёл такой разговор с шестилетним внуком, предлагая ему выпить за революцию. Но что написано пером, того не вырубишь топором...

Постоянно хвастаясь своим интернационализмом, поскольку в его жилах, как он сам выяснил, течёт “немецкая”, “шведская”, “польская”, “латышская” и “украинская” кровь, Евтушенко, тем не менее, неоднократно заявлял, что он отвергает **“родство по крови”, ведущее к национализму: “Я презираю национализм. Для меня мир разделён на две нации: нация хороших людей и нация плохих людей”**.

Но этого ему показалось мало, и он тут же поклялся в верности коммунизму, понимая, что генсек Хрущёв оценит это признание: **“В связи с тем, что коммунизм, как я уже сказал, стал самой сутью русского народа, то циники и догматики не просто предатели революции – они предатели своего народа”**, – написал он в письме Хрущёву по поводу своей “Автобиографии...”. Однако и это утверждение ему показалось недостаточным, и Евгений Александрович, понимая, что кашу маслом не испортишь, добавил: **“Для меня как для русского, как для человека, для которого заветы Ленина – самое дорогое на свете, антисемитизм всегда был вдвойне отвратителен”**...

Ну, за эти слова Хрущёв должен был не кричать на Евтушенко, а приколоть ему орден на лацкан пиджака.

А Евгений Александрович, сообразив, что тема интернационализма для него, у которого **“еврейской крови нет в крови”** – всё равно, что золотая жила для золотоискателя, уже не останавливался на достигнутом, и вот какую сцену то ли вспомнил, то ли сочинил для доверчивого читателя в своём лондонском издании:

“Вдруг открылась дверь, и появился старичок-наборщик в рабочем халате.

– Ты Евтушенко будешь? Дай руку, сынок. Я набирал твой “Бабий Яр”... Правильная вещь! Все рабочие у нас в типографии читали и одобряют... – Рука старичка нырнула в халат, и оттуда появилась четвертинка водки и солёный огурец.

– Это тебе наши рабочие прислали, чтоб ты повеселел. Не волнуйся, давай и я с тобой выпью за компанию... Ну, так-то оно лучше... Я, брат, в молодости в рабочей дружине участвовал. Евреев мы от погромщиков защищали. Хороший человек антисемитом быть не может... Старичок что-то ещё говорил, и мне как-то спокойней становилось на душе”.

Ну, прямо-таки наборщик, а какой-то сказочный дед Мороз с дарами, с чекушкой и солёным огурцом. А “Бабий Яр”, оказывается, стал духовной пищей для русского простонародья и приговором для антисемитов: “Я, – продолжает Евтушенко, – получил на “Бабий Яр” около 20 тысяч писем, и лишь тридцать-сорок из них были написаны в агрессивном тоне. Но все они были написаны левой рукой”. Я прочитал эти слова и расхохотался: Е. Е., словно опытный профессиональный следователь, распознал, какой рукой (левой или правой!) были написаны эти ненавистные ему “тридцать-сорок” писем!

Но если говорить о сути “шестидесятничества”, то сама евтушенковская “Автобиография...” не заслуживает серьёзного внимания. Серьёзного внимания заслуживают комментарии и предисловия европейских и американских идеологов и пропагандистов холодной войны с СССР, которыми они сопроваждали евтушенковскую исповедь. В некоторых публикациях последних лет при жизни Евтушенко не раз сообщалось, что, кроме трёх европейских изданий “Автобиографии...”, было ещё одно – четвёртое, американское, предисловие к которому якобы написал бывший глава ЦРУ Аллен Даллес,

“В прозе у нас теперь гуру Солженицын. Как сказал в беседе со мной полковник ГРУ Валерий Берчун: “Какие бы улицы и центры ни называли его именем, для меня Солженицын остался человеком, который воевал против моей страны”. В поэзии “наше всё” – Евтушенко, предисловие к автобиографии которого написал бывший глава ЦРУ Даллес. Заслужить надо такую честь! Теперь нас Евтушенко из Оклахомы учит родину любить. А за Даллеса заступает. Вот как Евтушенко отвечает на вопрос журналиста Андрея Морозова:

– Очень много писали о том, что так называемая “Доктрина Даллеса” – фальшивка. Но если это так, то почему всё, о чём там написано, сбылось?

– Я считаю, что для американской разведки слишком много чести думать, что это они развалили Советский Союз. Мы это сделали сами”.

О как! Ну, естественно, “мы сами”. С Вашей помощью, Евгений Александрович, как же-с. “Вы и убили-с” (из интернет-журнала Л. Сычёвой, март 2016).

“Бежал в Америку, как Казимир Самуэлевич Паниковский с краденым гусем подмышкой бежал за “Антилопой-Гну”: “Возьмите меня! Я хороший! – Возьмём гада”, – сказал Остап. А кто тут был в роли Остапа? Ведь, кажется, директор ЦРУ Аллен Даллес, который так любил русскую поэзию, что в своё время написал предисловие к вашей “Автобиографии рано созревшего человека” (из статьи В. Бушина “Ворон к ворону летит...”. Штрихи к портрету господина Евтушенко. “Завтра” 14 ноября, 2013).

Из статьи Соломона Беллоу “Босоногий мальчик. Преждевременная автобиография Евгения Евтушенко”:

“Евтушенко – звезда. Фанаты вожделеют его автограф. Мировая пресса следит за его деятельностью. Его автобиография публикуется в Saturday Evening Post с предисловием отставного главы ЦРУ мистера Аллена Даллеса. Он плох для Них, хорош для Нас. Премьер Хрущёв негодует. Товарищ Ильичёв, главный пропагандист при Сталине, в ярости <...> то, что удовлетворяет Евтушенко, необходимо в глазах публики для образа русского поэта, в России и за рубежом, поэта, который говорит прямо, по совести, он поэт, в котором так сильно нуждается как Запад, так и Восток, символ свободного духа. Он, должно быть, чувствовал необходимым протолкнуться так далеко, как посмеет, чтобы защитить плоды русской “оттепели”.

Из книги Григория Климова “Протоколы советских мудрецов”: **“Будучи в Нью-Йорке, Евтушенко моментально присоединился к демонстрации молодёжи в Гринвич-виллидже, где протестовал против приказа начальника полиции Нью-Йорка, который запретил их сборища на Вашингтонсквере. Но Евтушенко умалчивает, что это были сборища педерастов и лесбиянок. Всё это из “Автобиографии...”, написанной самим Евтушенко” <...> “Во всём он обвиняет антисемитов и скульпт о Бабьем Яре... Вот потому-то предисловие к этой “Автобиографии...” написал Аллен Даллес, бывший начальник ЦРУ. Они сразу увидели в Евтушенко “полезного идиота”, которого можно употребить для целей психологической войны”.**

Прочитав эти комментарии, я понял, что мне надо разыскать предисловие Даллеса, опубликованное в американском еженедельном издании Saturday Evening Post от 10 августа 1963 года. Сведущие айтишники сообщили мне, что это еженедельное издание можно получить из американского архива, но за деньги. Я согласился, но вскоре выяснилось, что дело не только в деньгах, что получить нужный мне текст из этого засекреченного архива можно было лишь человеку, имеющему американское гражданство. И тут я вспомнил, что в одном из провинциальных штатов Америки работает в местном университете наш советский филолог, уехавший туда в начале перестройки, мой давний знакомый и, к счастью, русский человек.

Найти его телефон не стоило большого труда, и я попросил его о помощи. Спустя месяц от него пришла бандероль, в которой был запечатан еженедельник, внешне похожий на наш “Огонёк”, и я вздохнул с облегчением: наконец-то я пойму, почему знаменитый разведчик и провокатор международного масштаба благословил издание “Автобиографии...” советского поэта своим ЦРУшным авторитетом.

На разноцветной обложке этого таинственного еженедельника грубо и аляповато был нарисован Колонный зал Дома Союзов с громадным портретом Сталина на фасаде. К фасаду Дома Союзов сбоку от Сталина почему-то была пристроена Спасская башня Кремля с пятиконечной звездой. Вся Пушкинская улица и часть Охотного ряда, переходящего по плавному изгибу в Пушкинскую, были буквально переполнены человеческими фигурами, головами и лицами с искажёнными гримасами, с кричащими ртами... Видимо, американский художник так представлял себе прощанье советского народа со Сталиным, которое произошло 9 марта 1953 года и где побывали и я, и Евтушенко. Но мы прошли по той траурной Пушкинской в молчаливой очереди, плывущей ко входу в Колонный зал. И самое главное: на фоне безобразно орущей толпы с искажёнными от горя и злобы ртами был нарисован лик поэта, в котором с трудом можно было узнать Е. Е. с ключьями волос, прилипших ко

лбу, с губами, сжатыми в чёрную нитку, с сумасшедшим взглядом и надписью на верхнем краю обложки: **“Блистательная история жизни и борьбы за свободу советского поэта при Сталине и Хрущёве”**. Далее следовало короткое безымянное вступление от редакции Saturday Evening Post, объясняющее американским читателям, кто такой Евтушенко и почему его “Автобиография...” удостоена такой чести, что о ней пишет сам Аллен Даллес:

“Автобиография Евгения Евтушенко.

Для того чтобы высказаться против беспринципной диктатуры, нужно мужество. Тридцатилетний русский поэт Евгений Евтушенко обладает мужеством произнести беспощадный приговор советскому коммунизму, которого не произносил ни один писатель. Кремль запретил эту книгу, но впервые американские читатели могут узнать почему”. А далее следовало само предисловие Даллеса:

“Хрущёв получил бунт и не знает, как с ним поступить. Восстание интеллектуалов, поддержанное многотысячными толпами народа, собравшимися в Москве, чтобы послушать, как Евгений Евтушенко читает свои стихи. И это наиболее опасное для советского режима восстание. Три десятилетия тому назад против коллективизации восставали крестьяне: “Это было ужасно, – признавался Сталин Черчиллю в критические минуты 1942 года, – в восстании участвовали 10 миллионов крестьян”. По словам Сталина, потребовалось четыре года, чтобы подавить это восстание. Через 7 лет Хрущёв показал, что он может быть более безжалостным, чем Сталин, когда послал вооружённые до зубов дивизии в Будапешт, чтобы потопить в крови венгерское восстание 1956 года.

Сейчас другое дело. Вооружённые войска и массовое кровопролитие – бесполезные инструменты против поэтов и артистов. И Хрущёв сам распахнул двери для возмущённых интеллектуалов. Он мог тихонько похоронить сталинизм, но вместо этого в секретной речи 1956 года стал плясать на могиле Сталина и проклинать его. Эта речь была предназначена лишь для узких партийных кругов, но Центральное разведывательное управление США завладело текстом речи и опубликовало его по всему миру. Как пишет Евтушенко в “Автобиографии рано созревшего человека”, “хрущёвское разоблачение сталинских чудовищных преступлений оказалось искрой, от которой и разгорелось восстание интеллектуалов”. И как теперь быть? Либо нужно возвращаться к сталинизму, либо разрешить свободы, которые сокрушают всю советскую систему. Вот проблема, с которой столкнулись Хрущёв и советские руководители. На последнем съезде ЦК Компартии (XXI съезд ЦК КПСС 1962 г. – Ст. К.) Хрущёв отказался от мирного сосуществования между коммунистической и буржуазной идеологиями: “Этому не бывать!” – сказал он и добавил, что партия продолжит руководить интеллигенцией.

На мой взгляд, это предвестие нового периода тяжёлого идеологического давления, а возможно, и жестоких репрессий. Евтушенко и его друзья-интеллигенты, скорее всего, станут первыми мишенями. При помощи идеологического давления можно достичь первоначальных хрущёвских целей даже без применения чрезвычайных мер.

Богемная жизнь Евтушенко и других молодых интеллигентов, возможно, не приведёт к репрессиям и мученичеству. Вопреки призывам его друзей-либералов стойко стоять, Евтушенко уже пошёл на компромисс и согласился на некоторые поправки в своей знаменитой поэме “Бабий Яр”. Журнал “Новый мир”, который первым опубликовал пронзительную историю о сибирском концлагере “Один день Ивана Денисовича” (февраль 1963 года), тоже частично склонился перед официальной линией. Мало того, вожди восстания интеллигенции, в числе которых значится и Евтушенко, по убеждениям коммунисты, что делает их послушными требованиям партии.

Всё-таки хрущёвская проблема ещё не решена, поскольку Евтушенко и его друзья идеализируют коммунистическую теорию. А на практике коммунистическая система не признаёт за ними права свободно выражаться в собственной стране и таким образом неизбежно электризует их таланты. На некоторое время молодые интеллигенты могут быть возвращены в струю общей идеологии, но несоответствие между коммунистической теорией и практикой рано или поздно станет для них очевид-

ным. Вот почему бескровное восстание интеллигенции в перспективе станет более опасным для коммунистической власти, нежели восстание крестьян в коллективизацию или борцов за свободу Венгрии”.

Много воды утекло с той поры, как были написаны эти страницы. Но перечитываю их сегодня и думаю: автор стихов о Сталине, эпопеи о Ленине, поэм о стройках коммунизма, множества стихотворений о мировых революциях, происходивших на земном шаре в XX веке, поэт, для которого кумирами были Фидель Кастро и Сальвадор Альенде, — зачем, с какого перепугу он добился или согласился с тем, чтобы его “Автобиография...” была освящена предисловием человека, который был врагом всего революционного и “русско-советского”, чему служила евтушенковская Муза? Зачем было ему, писавшему хрестоматийные стихи: **“А любил я Россию всюю кровью, хребтом, // её реки в разливе и когда подо льдом”,** верившему — **“если будет Россия, // значит, буду и я”**, — похвала ЦРУшника, который только и мечтал, чтобы Россия исчезла с лица Земли и как общество, и как государство?

Вот уже более полувека в Советском Союзе и в России историкам известны тезисы некоего плана по разрушению нашей страны. Евтушенко не мог этого не знать, если вспомнить, что он, когда было нужно, выходил со своего городского телефона на прямую связь с Юрием Андроповым. Но скорее всего, этот пресловутый “план” был изложением речи тогдашнего (1944) сотрудника Управления стратегических служб США и его резидента в Европе (а позже — 1953–1961 — директора ЦРУ) Аллена Даллеса на одном из закрытых заседаний этого ведомства. Впервые полный текст “плана” был обнародован в России в одном из выступлений Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского — “Советская Россия”, 20 февраля 1993 г. О подлинности этого документа свидетельствовали В. С. Широнин — “Под колпаком контрразведки”, М., 1996 г., Ю. И. Дроздов — “Записки начальника нелегальной разведки”, М., 1999 (М., 1981). Под заголовком “План Даллеса” были опубликованы основные выдержки из этого текста в книге историка Н. Яковлева “ЦРУ против СССР” (М., Правда, 1983). Многие абзацы из меморандума Совета национальной безопасности США, имеющие заголовок “Задачи в отношении России” (август 1948) также совпадали текстуально с абзацами из книги Н. Яковлева. Но какие главные соображения о будущем Советской страны приписывались в 60-е этому персонажу из фильма “Семнадцать мгновений весны”? Перечислим их. Вот она, эта страница, суть которой не менее страшна, нежели планы, изложенные в книге “Майн кампф” германском предшественнике Даллеса.

“Окончится война, всё утрясётся и устроится. И мы бросим всё, что имеем, — всё золото, всю материальную мощь — на оболванивание и одурачивание людей”.

“Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих союзников в самой России”.

“Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного и необратимого угасания его самосознания. Из искусства и литературы мы постепенно вытравим его социальную сущность; отучим художников и писателей — отобьём у них охоту заниматься изображением и исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства”.

“Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдальбивать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, — словом, всякой БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху”.

“Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, процветанию взяточников и беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, — прежде всего,

вражду и ненависть к русскому народу, – всё это мы будем ловко и незаметно культивировать, всё это расцветёт махровым цветом”.

“Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем братья за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать НА МОЛОДЁЖЬ – станем разлагать, развращать и расцветать её. Мы сделаем из неё циников, пошляков и космополитов”.

Незачем ломать голову – фальшивка или нет пресловутый “План Даллеса”? Увы! Все наши отношения с Америкой за последние семьдесят с лишним лет есть осуществление этого плана. Именно поэтому первый том трёхтомника моих воспоминаний “Поэзия. Судьба. Россия” начинается словами: **“Я имею честь принадлежать к той породе русских людей, о которых Аллен Даллес, изложивший в конце Второй мировой войны программу планомерного уничтожения России и русского народа, с высокомерием писал: “И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём способы оболгать и объявить отбросами общества”.**

Да, многое нынче у нас на родине вершится согласно этому плану. Но всё-таки я не верю, что адский замысел – **“грандиозная по своим масштабам трагедия самого непокорного на земле народа”** – успешно осуществляется. Не может быть того, что предсказал Даллес. Не только потому, что нас много, но ещё и потому, что “всё позволено”, как говорил Достоевский, лишь при одном условии: “если Бога нет”...

Так что в 2005 году я был убеждён в том, что “план Даллеса” написан англосаксонской рукой. А знакомство с его предисловием к “Автобиографии...” Евтушенко ещё больше укрепило меня в этой догадке.

Если даже Аллен Даллес не является подлинным автором легендарного документа, то всё равно его предисловие к американскому изданию “Автобиографии...” Евтушенко выглядит, как деловое пособие для вражды “детей оттепели” с “кремлёвской властью”. И вполне возможно, что Даллес, сочиняя предисловие к евтушенковской брошюрке, пользовался своим ранее написанным “планом”. Слишком много в даллесовском плане и в его предисловии к “Автобиографии...” совпадений, мыслей и формулировок, сочинённых “одним умом” и написанных “одной рукой” пронизательного и коварного врага не только Советского Союза, но и всей исторической России. И тут само собой возникает вопрос, на который необходимо ответить: почему “сомнительный план” получил такую известность и почему автор “Автобиографии...” согласился на то, чтобы предисловие к ней писал враг его родины.

Конечно, люди с Лубянки знали об американском издании “Автобиографии...”, но Хрущёв, взъярившийся на Евтушенко, не знал об этом. Иначе Евгений Александрович был бы не просто изгнан из Союза писателей, но, может быть, вообще был лишён советского гражданства и выслан из страны. В том, что этого не произошло, я вижу заслугу сотрудников Лубянского ведомства. Лубянке был нужен Евтушенко не “изгнанный” из страны, а имеющий возможность ездить по всему миру (что он и делал, побывав в “94-х странах”) и, встречаясь с политиками, идеологами, государственными деятелями Западного и вообще капиталистического мира, вольно или невольно следовать советам, а то и прямым распоряжениям своих опекунов “в штатском”, отвечающих за безопасность нашего государства. Об этом после 1993 года, открыто называя имя нашего поэта, написал легендарный советский чекист П. Судоплатов в своих мемуарах. О такого рода связях Евтушенко с идеологами Лубянки писал Войнович, этой “слабости” Евтушенко не прощал поэту Бродский. Да и сам Евтушенко позже так трактовал эти щекотливые моменты своей судьбы: **“Моя автобиография, напечатанная в западногерманском “Штерне” и во французском “Экспрессе”, вызвала всплеск новой надежды левых сил в Европе после депрессии, вдавненной в души гусеницами наших танков в Будапеште 1956 года”.** Ни об американском издании “Автобиографии...”, ни о предисловии Даллеса он, всегда хвастливо гордившийся своими знакомствами со знаменитыми людьми (Никсон, Роберт Кеннеди, Сикейрос, Клинтон, Пикассо и т. д.), не промолвил ни слова. Забыл? Едва ли. Скорее всего, он поступил согласно русской пословице: “Почуяла кошка, чьё мясо съела”...

И таких восторженных ценителей поэтического слова, как Даллес, в сложной жизни Евгения Александровича больше не было. Бывший директор ЦРУ

не пожалел для него ни пафоса, ни лести: **“Русский поэт Евгений Евтушенко обладает мужеством произнести беспощадный приговор советскому коммунизму”**. Похвалы и комплименты Даллеса, сформулированные им в 1963 году, столь глубоко и красноречиво продуманы, что диву даёшься:

“Восстание интеллектуалов, поддержанное многотысячными толпами народа, собравшимися, чтобы послушать, как Евтушенко читает свои стихи, <...> – наиболее опасное для советского режима восстание”... “Вооружённые войска и массовое кровопролитие – бесполезные инструменты против поэтов и артистов”... “Бескровное восстание интеллектуалов в перспективе станет более опасным для коммунистической власти, нежели восстание крестьян в коллективизацию или борцов за свободу Венгрии”... Как в воду глядел!

Ну, как тут не отдать должное бывшему директору ЦРУ, его пророчествам, его хищному англосаксонскому уму! В 1963 году он предвидел не просто истинную судьбу деятелей, подобных Евтушенко, но и разгул на карте мира всех “цветных революций” конца XX – начала XXI века, начиная от нашей “перестройки” и заканчивая событиями на сегодняшней Украине, в лукашенковской Белоруссии и даже в патриархально-племенной Киргизии. Поистине он, вместе со Збигневом Бжезинским и Фукуямой, могут считаться злыми гениями, играющими азартные партии на шахматной доске мировой истории. Вот как понимал приход к власти Хрущёва выдающийся русофоб и антисоветчик Збигнев Бжезинский в книге “Большой провал”:

“Последствия того, что в Кремле оказался генеральный секретарь-ревизионист, были огромными. Это должно было привести не только к вспышке более резкой и страстной полемики почти всех аспектов советской жизни. Это так же не могло и не оживлять и не усиливать куда более решительный в своих устремлениях восточно-европейский ревизионизм, в то же время лишая Кремль идеологического амвона, с которого можно было бы предать анафеме еретиков”.

* * *

Евгений Евтушенко на всех крутых поворотах своей авантюрной судьбы с назойливым пафосом и актёрской наивностью сообщал всему миру о том, что он побывал в 94-х странах, что стихи его перевели на 72 языка, что после поэмы “Бабий Яр” он стал любимцем мирового еврейства, которое выдвигает его на Нобелевскую премию, что он стал академиком многих десятков академий земного шара, что был четырежды женат и т. д., и т. п. . . . Нечто похожее было в нашей поэзии после Октябрьской революции, но гораздо в меньших масштабах.

Помнится, как в 1920-е годы Есенин с Маяковским каждый написали стихотворение, обращённое к А. С. Пушкину, стоящему на Тверской площади. В эту же эпоху Блок произнёс знаменитую речь о Пушкине и написал стихотворное завещание “Имя Пушкинского Дома”. А Марина Цветаева в эссе “Мой Пушкин” и Анна Ахматова в стихах объяснились поэту в любви. Одним словом, все знаменитые поэты Серебряного века искали в трудное послереволюционное время поддержки и понимания у “солнца русской поэзии”. Но обращаться только к одному Пушкину? Для Евтушенко этого показалось мало. И он с неподражаемой фамильярностью провозгласил своё кредо: **“Дай, Пушкин, мне свою певучесть, свою раскованную речь! Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд! Дай, Некрасов, уняв мою резвость, боль иссечённой музыки твоей! О, дай мне, Блок, туманность вещую! Дай, Пастернак, “смещение дней, смещение веток!” Есенин, дай на счастье нежность мне к берёзкам и лугам, к зверью и людям! Дай, Маяковский, мне глыбастость, буйство, бас!..”** Слава Богу, перечислил всех. . .

Ну, что было делать с такого рода амикошонской откровенностью? Разве что руками развести и вспомнить, что его грандиозные эпопеи “Казанский университет” и “Братская ГЭС” по объёму чуть ли не превосходят пушкинский роман в стихах и некрасовскую поэму “Кому на Руси жить хорошо”. Однако, обуреваемый всяческими грандиозными замыслами, наш рекордсмен умел вершить и благие дела. Однажды, прочитав в юности антологию русской поэзии Ежова и Шамурина, он возмечтал создать шедевр подобного рода, после

чего у нас появилась его антология “Строфы века” объёмом в тысячу страниц, затмившая ежовошамуринскую и по толщине, и по количеству поэтических имён. В этой гигантской книге были опубликованы стихотворные подборки тысячи с лишним поэтов, каждая подборка была снабжена и осмыслена предисловием составителя. Вес этого фолианта достигал нескольких килограммов, что свидетельствовало: русская поэзия XX века является самой увесистой поэзией мира. Словом, мировой рекорд был установлен во всех смыслах, труды составителя по изданию этого шедевра были неимоверными: “Я начал работать над этой антологией, — сообщил нам тяжелоатлет, — ещё во времена холодной войны”. И его великодушию при отборе стихов не было равных: “Составитель, — писал он о себе, — включил в эту антологию стихи некоторых поэтов, глубоко чуждых ему самому по гражданской нравственности (?), и даже своих ярких “литературных врагов”. Его историческая объективность была по тем временам небывалой: “Я всегда хотел, чтобы эта антология была похожа на дом Волошина в Крыму, где во время гражданской войны находили братский приют “и красный вождь, и белый офицер”. Его уверенность в том, что он, издавая “Строфы века”, вершит великое миротворческое дело, была по-своему даже трогательной, а рассказ о том, как Марина Влади перевозила через границу “чемодан поэзии” ради того, чтобы первое издание “Антологии” появилось на свет в американском издательстве “Дабльдэй”, ставит эту конспиративную “операцию” рядом с историей издания на Западе “Доктора Живаго”, появившегося на белый свет благодаря стараниям ЦРУ.

“Почему мой чемодан с рукописью антологии я дал именно Марине Влади? После процесса над писателями Синявским и Даниэлем, когда за романы, стихи, статьи и речи диссидентов начали бросать в лагеря и психушки, таможенники беспощадно конфисковывали все рукописи в багаже, идущем за границу. Но Марина Влади была близка к французским коммунистам, впоследствии даже стала членом их ЦК, и её чемоданов обычно не открывали. Поэтому я и попросил именно её нелегально перебросить сразу примерно 250 русских поэтов в Париж. В чемодане было 15 килограммов поэзии.

Под облупленной крышкой моего чемодана, переданного Марине, в первый раз оказались вместе символисты, акмеисты, футуристы, ничевоки, пролеткультовцы; белогвардейцы, красные комиссары; аристократы и их бывшие крепостные; революционные и контрреволюционные террористы; элегантные строители башни из слоновой кости, пахнущие духами “Коти”, и пахнущие луком и водкой разрушители этой башни при помощи двух основных инструментов — серпа и молота; эмигранты четырёх волн, оказавшиеся за границей поневоле, и те, кто никогда даже краешком глаза не видел ни одну другую страну; западники и славянофилы; знаменитости и те, кто не напечатал в жизни ни строчки; жертвы лагерей и жертвы страха оказаться в этих лагерях; лауреаты Сталинских, Ленинских и Нобелевских; некоторые — увы! — талантливые реакционеры с шовинистским духом и некоторые — увы! — гораздо менее талантливые прогрессисты; революционные романтики и отчаявшиеся диссиденты; представители так называемой эстрадной поэзии и представители так называемой тихой поэзии; затянутые в чопорные сюртуки формы классицисты и сардонические неоавангардисты в грязных продранных джинсах; смертельные литературные враги в прошлом и смертельные литературные враги в настоящем. Вот каким разным было шумное, спорящее, воюющее друг с другом иногда даже после смерти население чемодана с рукописью антологии русской поэзии. А помог Марине Влади дотащить этот чемодан до таможни аэропорта “Шереметьево” не кто иной, как актёр Театра на Таганке, поэт-мятежник с гитарой, муж Влади и один из будущих авторов этой антологии — Владимир Высоцкий”.

Сказано вроде бы страстно и убедительно, и “всё же, всё же, всё же”, впадая во вдохновенное краснобайство, Евтушенко умалчивает о том, что многих, враждебных ему по мировоззрению поэтов, он не включил в свою “великодушную антологию”, а над некоторыми стихами поработал, как настоящий и беспощадный цензор, а в своих предисловиях к стихотворным подборкам не раз наклеивал унижительные и несправедливые ярлыки на имена поэтов, неугодных или враждебных ему. Своя рука, как говорит пословица, владыка.

Одним из самых значительных литераторов начала XX века, вышедших, подобно Есенину, из крестьянства, был Пимен Карпов. Его первую поэтическую книгу “Говор зорь” одобрил Лев Толстой, Александр Блок, прочитав роман Карпова “Пламень”, отозвался выше некуда: “Из “Пламени” нам придётся – рады мы или не рады – кое-что запомнить о России <...> Плохая аллегория и “святая правда”. Сергей Есенин высоко ценил его как поэта.

Но когда в 1921 году руководством к действию для ЧК стало письмо Ленина о борьбе с религией, когда в Европу был отправлен “философский пароход”, когда в 1922 году для борьбы с русским свободомыслием был создан цензурный комитет, когда в 1923 году состоялся общественный суд под четырьмя поэтами-выходцами из крестьянства – Сергеем Есениным, Алексеем Ганиным, Сергеем Клычковым и Петром Орешиним, – суд спровоцированный, как и многие судебные дела той эпохи, “на почве антисемитизма”, вот тогда Пимен Карпов, увидевший, куда завела революция русское простонародье, излил свои чувства, написав в письме своему другу К. А. Рудневу:

“За что меня истязают и пьют вёдрами мою кровь, и не дают печататься, подлецы, костоглоты? Ведь эдак можно с ума сойти! Ведь это наиважнейшая из казней – не давать писателю печататься! Я понимаю, журналистику иногда можно щемить, потому что вообще журналистика ничто, гнойник на теле русской культуры (Карпов сам много лет был корреспондентом различных газет. – С. К.), но – художественное слово! Ведь без него же все превратятся в орангутангов, обрастут мхом, поделаются людоедами!”

Но в своём предисловии к стихам П. Карпова, напечатанным в “Строфах века”, Евтушенко так поглумился над судьбой несчастного поэта:

“Не так давно в ЦГАЛИ было найдено и опубликовано С. Куняевым стихотворение Карпова “История дурака”, помеченное 1925 годом, в котором много общего с клюевским восприятием, точнее, неприятием революции. Карпова больше не печатали, хотя в письмах на высокие имена он бунтовал, что вот-де писателей-фашистов печатают (он их перечислил, в том числе назвал фашистом и... Джеймса Джойса), а его, Карпова, не печатают. Не помогло – печатать всё равно не стали. Никто не знает, как он дальше существовал. Каким-то чудом выжил и однажды появился, как призрак прошлого, в издательстве “Советский писатель” с авоськой, полной превратившихся в лохмотья рукописей. Так и умер он, не вспомненный современниками”.

А “с авоськой, полной превратившихся в лохмотья рукописей”, Карпов появился в издательстве “Советский писатель” в 1962 году, когда Евтушенко был в зените своей славы. Карповские “лохмотья”, естественно, в издательстве никто не стал читать, и через год близкий Есенину друг и поэт умер, и о нём было забыто надолго.

Лишь в 1985 году мы с сыном, составляя книгу поэтов есенинского круга “О Русь, взмахни крылами!”, включили туда 15 замечательных стихотворений Карпова, но самое значительное из них – “Историю дурака” – редакторы и цензоры издательства “Современник” печатать с негодованием отказались. И вот почему... С началом перестройки и фактической отменой цензуры это стихотворение, предложенное нами в “День поэзии 1989”, главными редакторами которого был Пётр Вегин, Алексей Марков и Дмитрий Сухарев, было отвергнуто Сухаревым и составителями Татьяной Бек и Тamarой Жирмунской со следующими резолюциями: **“Таня, я против. Т. Ж.”**, **“Я против... Т. Б.”**, **“Я против, т. к. в этой вещи общая трагедия народов страны изображена как исключительно русская трагедия, что несправедливо. Д. С.”** В общем, снова Пимен Иванович оказался неудобным как большевикам, так и либералам. Оставалось надеяться только на благородство Евтушенко, заявившего на весь мир, что он враг всяческой цензуры и что он как составитель готов включить в свою антологию “стихи некоторых поэтов, глубоко чуждых ему самому”. Он действительно включил в “Строфы века” “Историю дурака” Пимена Карпова, но “исключил” из этой маленькой поэмы (77 строчек) три четверти текста, которые я выделяю жирным шрифтом, чтобы читатель наглядно увидел сам, как наш борец с цензурой, в сущности, надругался над стихами и памятью незаурядного русского поэта, выброшенного из литературной жизни в 1925 году, а умершего в нищете и в забвении в 1963-м, и чьё самое заветное стихотворение было искалечено нашим “есенинцем” в 1995-м.

ИСТОРИЯ ДУРАКА

I

Когда с непроходимых улиц,
С полей глаза Руси взметнулись, –
Была тобой, дурак, она
На поруганье предана.
В заклятой той стране-остроге
Умерщвлены тобою боги;
Ища бессмертья, гадий мир
Лакает чёртвов эликсир!..
Да! Кровью человечьей сыто,
В свиное устремясь корыто,
Наследие твоё, урод,
Теперь вовеки не умрёт:
Сопьются все, померкнут славы,
Но будут дьяволы-удаваы
И ты – дурак из дураков –
Жить до скончания веков!

II

Ты страшен. В пику всем Европам...
Став людоедом, эфиопом, –
На царство впёр ты сгоряча
Над палачами палача.
Глупцы с тобой “ура” орали,
Чекисты с русских скальпы драли,
Из скальпов завели “экспорт” –
Того не разберёт сам чёрт!
В кровавом раже идиотском
Ты куролесил с Лейбой Троцким,
А сколько этот шкур дерёт –
Сам чёрт того не разберёт!
Но всё же толковал ты с жаром:
“При Лейбе буду... лейб-гусаром!”
Увы! – Остался ни при чём:
“Ильич” разбит параличом,
А Лейба вылетел “в отставку”!
С чекистами устроив давку
И сто очков вперёд им дав,
Кавказский вынырнул удав –
Нарком-убийца Джугашвили!
При нём волками все завыли:
Танцуют смертное “танго” –
Не разберёт сам чёрт того!
Хотя удав и с кличкой “Сталин” –
Всё проплясали, просвистали!..
Дурак, не затевай затей:
Пляши, и никаких чертей!

III

Смеялись звёзды и планеты
Над дьявольскою пляской этой;
Голодные кружили псы
У опустелой полосы:
Из щелей выползали гады,
Любви и солнца тризне рады,
И, попирая жизни новь,
Невинную лакали кровь...

Вот эти 20 с лишним строчек — это всё, что оставил Е. Е. от потрясающего стихотворенья Пимена Карпова:

*Рабы, своими мы руками
С убийцами и дураками
Россию вколотили в гроб.
Ты жив, — так торжествуй, холоп!
Быть может, ты, дурак, издохнешь,
Протянешь ноги и не охнешь:
Потомству ж — дикому дерьму —
Конца не будет твоему:
Исчезнет всё, померкнут славы,
Но будут дьяволы-удавы
И ты, дурак из дураков,
Жить до скончания веков.
Убийством будешь ты гордиться,
Твой род удавий расплодится, —
Вселенную перехлестнёт;
И будет тьма, и будет гнёт!
Кого винить в провале этом!
Как бездну препоясать светом,
Освободиться от оков?
Тьма — это души дураков!..*

IV

*...И мы взываем с новой силой —
Господь, от глупости помилуй!
Не то на растерзанье псам
Напорешься, Господь, Ты Сам!*

.....

1925

Однако не Пимен Карпов был самым близким Есенину поэтом в роковые двадцатые годы, таким был Алексей Ганин. Он вырос в крестьянской семье из деревни Коншино Вологодской области, окончил вологодское медицинское училище и в 20-летнем возрасте уже стал на Вологодчине известным поэтом. В начале войны 1914 года его призвали в армию, где он встретился в Царском Селе с санитаром Сергеем Есениным и вошёл в круг его друзей — Петра Орешина, Сергея Клычкова, Николая Клюева и Пимена Карпова. Через год вместе с Сергеем Есениным и Зинаидой Райх Ганин побывал на Соловках, а по возвращении в Вологду он присутствовал как поручитель невесты на венчании Сергея и Зинаиды в вологодской Кирико-улитовской церкви... После революции Ганин добровольно вступил в Красную армию, служил фельдшером в армейских госпиталях, издал в Вологде несколько литографированных стихотворных сборников. Один из них — “Красный час” — был посвящён Есенину. В 1922 году Ганин перебрался в Москву, где вместе с Есениным, Клюевым, Клычковым и Карповым участвовал в литературных вечерах крестьянских поэтов и где издал свою последнюю при жизни поэтическую книгу “Былинное поле”. Следующая книга Алексея Ганина вышла в Архангельске лишь через 70 лет. Её собрали мы с сыном после тщательного изучения “следственного дела” Алексея Ганина и его расстрела на Лубянке 30 марта 1925 года. Он был осенью 1924 года арестован и прошёл через пытки и допросы, которыми руководил обер-палач ЧК Яков Самуилович Агранов. А ордер на арест Ганина был подписан 1 ноября 1924 года самим Генрихом Ягодой. О том, кем был при жизни Алексей Ганин для Есенина и всех его друзей, написал тот же Пимен Карпов в леденящем душу стихотворении, которое стало отчаянным вызовом не только комиссарам госбезопасности Ягоде и Агранову, но по существу всей властной номенклатуре 1920-х годов.

В ЗАСТЕНКЕ

Памяти А. Г.

*Ты был прикован к приполярной глыбе,
Как Прометей, растоптанный в снегах,
Рванулся ты за грань и встретил гибель,
И рвал твоё живое сердце ад.*

*За то, что в сердце поднял ты, как знамя,
Божественный огонь — родной язык,
За то, что и в застенке это пламя
Пылало под придушенный твой крик!..*

*От света замурованный дневного,
В когтях железных погибая сам,
Ты создавал, что племени родного
Нельзя отдать на растерзанье псам,*

*И ты к себе на помощь звал светила,
Чтоб звёздами душителя убить,
Чтобы в России дьявольская сила
Мужицкую не доконала выть...*

*Всё кончено! Мучитель, мозг твой выпив,
Пораздробив твои суставы все,
Тебя в зубчатом скрежете и скрипе
Живого разорвал на колесе!*

*И он, подъяв раздвоенное жало,
Как знамя над душою бытия,
Посеял смерть: ему рукоплескала
Продажных душ продажная семья.*

*Но за пределом бытия, к Мессии —
К Душе Души — взывал ты ночь и день, —
И стала по растерзанной России
Бродить твоя растерзанная тень.*

*Нет, не напрасно ты огонь свой плавил,
Поэт-великомученик! Твою
В застенке замурованную славу
Потомки воскресят в родном краю.*

*И пусть светильник твой погас под спудом,
Пусть вытравлена память о тебе —
Исчезнет тьма, и в восхищенье будут
Века завидовать твоей судьбе...*

*А мы, на ком лежат проклятья латы,
Себя сподобим твоему огню,
И этим неземным огнём крылаты,
Навстречу устремимся Звездодню!*

1926

Справедливости ради следует вспомнить, что двое главных “мучителей” Алексея Ганина — Агранов и Ягода — бесславно закончили свою чекистскую карьеру в роковом “тридцать седьмом”, столь ненавистном Евгению Александровичу. Но что делать, коли в земной истории властвует закон, гласящий, что “революция пожирает своих детей”!

... В конце 80-х годов прошлого века чуть ли не каждую осень я повадил-ся охотиться и рыбачить на Беломорском Севере, на холодных и чистых реках Мезени, Пинеге, Мегре и однажды по счастливой случайности узнал, что в Архангельске живут две сестры Алексея Ганина. Конечно же, я разыскал их и провёл в долгих разговорах с ними многие вечера... Память у них обеих была прекрасная, и они многое рассказали мне о трагической жизни их семьи в двадцатые годы на вологодской земле в деревне Коншино.

Из рассказа младшей сестры А. Ганина Марии Алексеевны Кондаковой, записанного мною в 1987 году в Архангельске:

“Отец наш – Ганин Алексей Степанович. Мать – Ганина Евлампия Семёновна. Был ещё брат, работал в “Гагринской правде” и в “Правде Севера”. Журналист. В 1937 году арестован, а в 1941 году “умер в местах заключения”. Об Алексее была точно такая же формулировка официального письма. “Умер 30 марта в местах заключения”. Как погиб брат? Я была в 1925 году у прокурора Кудрявцева Пимена Васильевича в Вологде. Он сказал, что Алексей написал поэму, якобы порочащую Троцкого, и напечатал в “Московском альманахе” в 1924 году. Их забрали нескольких человек. Его судил военный трибунал. Но до этого они сидели уже раз по “делу антисемитизма”. Писали Демьяну Бедному, чтобы помог, а тот ответил: “Как сели, так и выбирайтесь”.

“Было у нас земли три четверти надела. Лошади не было. Своего хлеба хватало лишь до Михайлова дня – до двадцать первого ноября. Остальное отец зарабатывал – печки клал на Беляевском заводе. Художественно работал. Художником хотел быть.

Деревня наша Коншино – 18 домов, 96 душ было. Помню, как Алёша, когда пошёл в армию, вырезал на доске: “Деревня Коншино”, – и прибил на столб при въезде в деревню.

Папа был малограмотный, но толковый мужик. В Архангельском селе недалеко от нас была церковь и памятник напротив церкви Александру-Освободителю. Сшибли голову. Отец ходил с красным флагом. Помню, его одна старуха упрекала в восемнадцатом году: “Вот бегал с красным флагом, а теперь голодаем, хлеба нету...” Он был коренастый, светлый, со светлыми бровями...

Дом у нас был с мезонином. В мезонине было много полок с книгами. Брат спал на полу. И Есенин, когда к нему приезжал, спал на полу. В июле 1917 года я уехала в Вологду готовиться к экзаменам. Жила я на Богословской улице в доме с каменным низом и деревянным верхом. Вдруг приходит брат и говорит:

– Пойдём в ресторан! Обедать!

Пришёл не один... Если бы знать, что с ним Есенин... Он тогда ещё не был знаменит. Оба были в одинаковых костюмах. Алёша меня за руку взял – мне тогда уже одиннадцатый год шёл. Ресторан “Пассаж” на Каменном мосту. А теперь поликлиника. Вход был с угла. Лестница красивая, зал большой... Сидела я, оглядывалась – салфетки меня удивляли, люстры, а я думала: “Какие паникадила!” Потом принесли красивые тарелки – розовые цветочки запомнила – и красный суп (борщ!). При входе в ресторан стоял медведь, а в руках у него было блюдо. До собора меня проводили... “Мы очень спешим”. Была у нас фотография: оба они в серых костюмах с надписью: “Другу Алёше. Сергей”.

Кажется, в 1923 году брат поехал в Москву, хотел издать книгу. Бедствовал, работал где попало. Потом издал книгу “Былинное поле”. Слышала я, что ему Дункан помогла. А после <19>25 года вызвали меня в ГПУ. Директор говорит: “Тебя вызывают”. Брат Федя работал в “Красном Севере”. Я ему сказала: буду ходить вокруг да около. Но мы ещё ничего про Алексея не знали. Пришла. Мрачное помещение. Молодой парень. Я, говорит, познакомиться хочу. Я ему в ответ: у нас вечера бывают, приходите... “А где ваш брат?” – Я говорю: “Уехал в Москву, рукопись сдавать...” Он выслушал. Ничего не сказал”.

Я разглядываю фотографии: Алексей Ганин в кругу родных и земляков. Они в деревенской одежде. Отец в войлочной бесформенной шляпе. Ганин – молодой, красивый, одет по-городскому...

Из воспоминаний старшей сестры А. Ганина Елены Алексеевны:

“Жена Алёши была эстонка. В Пинеге он её нашёл, их выселили из Эстонии во время гражданской войны. Когда он уехал из деревни в Москву, она ждала, ждала его, да и решила, что бросил... Возвратилась в Эстонию вместе с дочерью Валеёй. Писала нам из эстонского города Выру: “Сообщите что-нибудь об Алёше”. А мы и сами ничего не знали о нём. Уехал – и пропал. Узнал всё года через три брат Фёдор. Поехал в Москву. Вернулся. Молчит. Только закрывает лицо и скрипит зубами, а то и плачет... Потом не выдержал, сказал: “Алёшку-то расстреляли”. А Гильда – Галей мы её звали – умерла в 1937 году в Тарту. Но всё это мы через много лет узнали. Решили Галю и племянницу свою Валю разыскать после войны. Сначала писать боялись, а потом написали в Таллин... Вскоре пришло письмо от Гильдиной соседки – через почтальона наши. Узнали, что и дочка Алёши Валечка умерла в 1941 году под оккупацией. Вот какая была красавица, с косами! – Елена Алексеевна показывает мне фотографию. – А я, помню, сон видела: новая квартира и две печки холодные. Зачем они, думаю, раз не топятся? Прихожу домой из хлебного магазина – навстречу сестра: письмо, мол, получила, и Гали, и Валеёй давно в живых нету... Многие говорят, что эстонцы плохие. Нет, очень приветливые! Мы навестили родственницу Гильды, от которой письмо получили, где-то в 60-х годах ещё... Потом долго переписывались, она нам шерсть посылала.

А брат Фёдор работал в “Красном Севере” в Вологде, потом перевели в Нальчик, из Нальчика в “Гагринскую правду”, где и арестовали. Сидел он в Каргопольском лагере, писал нам письма. В марте сорок первого получили от него весточку: не пишите мне, нас отправляют в новое место, напишу сам... И до сих пор пишет. Ответ получили: умер от паралича сердца в Магадане, судила тройка, дали десять лет... До сих пор не реабилитирован...

Всего-то нас было пять сестёр и два брата. Остались я да Маруся... Родительский дом у нас был обшитый, родители добротой славилась. Попрошайки, бывало, придут, кто в деревне ночевать пустит? Ганины! Отец всех нищих за стол сажал. “Ешьте, пейте...”

Работящий был. Ставил печки, сеял коноплю, вил верёвки, кожу выделывал, сапоги шил, корыта из осины долбил. Земли-то было мало... А мать была хорошая плетёя, кружева плела на семьдесят пар на продажу. Нитки ей давали заборщики, а потом забирали. Косынки плела из чёрных шёлковых ниток. И меня научила...

Соседнее село Архангельское было с церковью, с торговыми купцами, с каменными лавками. Приходское село... Купец был в селе – Ярков, умный мужик, когда туго стало – всё продал, уехал в Иркутск, вступил в партию... Справедливый был, хоть и купец. Бывало, отец придёт в лавку к его жене: “Пелагея Фёдоровна, праздники, детишкам чего-то купить надо”. Та зовёт приказчика, а отцу: “Выбирай, да не бери дешёвое, ты что, богач?” Долг записывает, а нам в подарок изюму да пряников...

Я была в последний раз в Коншино в 1938 году... Всё запустелое... Церковь, где апостолы были, как живые, захабили, всё переломали, зерном засыпали. Не зря пели песенку пионеры в те годы:

*Мы всё взорвём,
мы всё разрушим,
мы всё с лица Земли сотрём,
и солнце старое потушим,
и солнце новое зажжём...*

Я сама наизусть пела... А в церковь до сих пор хожу в нашу архангельскую, икона у меня из родного дома...

В тридцать первом году меня насильно от отца-матери отправили на лесозаготовки. Отец больной, мать больная. Надо было на лесозаготовку лошадей гнать. Я и погнала. Отец не мог оставить мать больную. А у меня скоро рука от пилы заболела... Вернулась домой. В лес возвращаться не хочу. А сестра моя старшая Анна была в Балахне. Думаю – надо в Балахну бежать, а то в лесу подохнешь. Прибавили мне в сельсовете год, паспортов тогда не

было, — и поехала я из деревни. Как щас помню: мать больная осталась, стоит на пригорке одна, слезами заливаётся... Будь оно проклято, то время... Из Балахны я писем не писала, боялась, найдут да возвернут в лес... А про Алёшу что ещё сказать? Стихи он писать начал рано, когда я ещё была маленькая... Стихи про деда Степана помню... Дом-то у нас был с мезонином — перед окнами росли яблони, черёмуха...

У Алексея была в мезонине библиотека... Такие книги были! Спасли только Евангелие, ему подарил священник с надписью, когда он в Усть-Кубенском училище закончил... А вот ещё Псалтырь отца. Я память родителей чту, и ночь перед Пасхой не сплю... Помню, как Есенин и Райх с братом приезжали к нам.

Она в Вологде работала у Клыпина, был такой краевед с частным издательством. Райх секретарём у него была... Приехали, когда рожь клонилась, стучатся в наш дом: “Хозяюшка, нельзя ль переночевать?” А мать в ответ: “Сейчас скажу отцу, он пустит!” Брат рассмеялся — мать его и признала. Вошли... Утром, я помню, жду не дождусь, когда проснутся. Как раз они на праздник попали после Петрова дня — на престольный праздник нашей деревни... Помню Райх — в белой блестящей кофте, в чёрной широкой шуршащей юбке. Весёлая... А Есенин хорошо играл на хромке — подарил её Фёдору, хромка с зелёными мехами. Долго лежала. Потом пропала.

Фёдор на ней играл и частушки сочинял:

*Эх, вы, сени мои, сени,
Не сплясать ли трепака?
Может быть, Сергей Есенин
Даст нам кружку молока...*

(Я из этого заключаю, что Фёдор знал стихи Есенина или слышал их в Коншино — стихи о матери со строками: “И на песни мои прольётся // молоко твоих рыжих коров”. — **Ст. К.**)

Ну, сразу смех: озорные девчата окружили Есенина, потребовали по кружке молока, и поэт движением руки отправил насмешниц к хозяйке дома, к нашей матери. А ещё Фёдор исполнял и такую частушку:

*Ах вы, сени, мои сени,
Были сени — теперь нет,
Был Сергей Есенин стельным —
Отелился или нет.*

(Опять же мне понятно, что младший брат Алексея Ганина в частушке иронизировал над “богохульными строками” Сергея Есенина: “Господи, отелись!” — **Ст. К.**)

... После Соловков брат опять заехал к нам в новой дотканной рубашке — сшил в Вологде. Бывало, с Федей придут на посиделки — и берут играть с собой самую какую-нибудь худую и бедную девушку. А потом о ней в деревне говорят: из города, мол, приехали с ней играть, один писатель, в шляпе!..

Фёдор-то в Алексее души не чаял. Приехал из Вологды, когда узнал о расстреле Алексея, никому ничего не сказал, боялся за мать — думал, с ума сойдёт... Она каждый день фотографии перебирала. В мезонин поднималась — сидит и плачет. И я с нею. А я до сих пор по брату плачу. Пока живу, буду плакать...”

* * *

Алексей Ганин с товарищами был арестован в Москве после того, как чекисты, возглавляемые Аграновым, обнаружили у поэта при обыске осенью 1924 года его политический манифест, носивший название “Мир и свободный труд народам”. В этом поразительном документе поэт осуждал власть, которая, по его словам, “вместо свободы несёт неслыханный деспотизм и рабство: вместо законности — дикий произвол ЧК и Ревтрибуналов, вместо хозяйственно-культурного строительства — разгром культуры и всей хозяйственной жизни страны; вместо справедливости — неслыханное взяточничество,

подкупы, клевета, канцелярские издевательства и казнокрадство. Вместо охраны труда — труд государственных бесправных рабов, напоминающий времена дохристианских деспотических государств библейского Египта и Вавилона. Всё многочисленное население коренной России и Украины, равно и инородческое, за исключением евреев, брошено на произвол судьбы. Оно существует только для вышибания налогов. Три пятых школ, существовавших в деревенской России, закрыты. Врачебной помощи почти нет, потому что все народные больницы и врачебные пункты за отсутствием средств и медикаментов впадают в жалкое существование. Всё сельское население, служащие и рабочие массы лишены своей религиозной совести и общественно-семейных устоев. <...> Свобода мыслей и совести окончательно задавлены... Всюду дикое издевательство над жизнью и трудом народа, над его духовно-историческими святынями”.

Конечно, после такого дерзкого вызова действующей власти судьба Алексея Ганина, названного арестовавшими его чекистами “руководителем “Ордена русских фашистов”, была предрешена. 30 марта 1925 года он и шестеро его товарищей — поэтов, художников, журналистов — были расстреляны.

К делу Алексея Ганина были приложены два документа.

Первый из них — из так называемого “Дела четырёх поэтов”, возбуждённого в ноябре 1923 года.

“СПРАВКА архивного уполномоченного.

По делу проходят: Есенин Сергей Александрович, 1895 года рождения. Уроженец села Константиново Рязанской области. Поэт;

Клычков Сергей Антонович, 1889 года рождения. Уроженец деревни Дубровка Московской области. Поэт;

Орешин Пётр Васильевич, 1887 года рождения. Уроженец села Галахова Саратовской области. Поэт;

Ганин Алексей Алексеевич, 1893 года рождения. Уроженец деревни Коншино Вологодской области. Поэт.

Дело возбуждено 21 ноября 1923 года на основании заявления гражданина Роткина М. В. о том, что четверо неизвестных лиц в пивной на улице Мясницкого ругали евреев, называли их паршивыми жидами. При этом упоминая фамилии Троцкого и Каменева.

Допрошенные Есенин, Клычков, Орешин и Ганин показали, что они беседовали на литературные темы, Троцкого и Каменева не оскорбляли. Одновременно Есенин и Орешин признали себя виновными в том, что называли Роткина паршивым жидом.

В имеющейся переписке говорится, что делу будет дан судебный ход. Однако 11 марта 1927 года дело прекращено за давностью. Были ли осуждены Есенин, Клычков, Орешин, Ганин, из настоящего дела не видно”.

Насколько серьёзным оказалось это обвинительное дело, свидетельствует черновик письма, написанного Сергеем Есениным Льву Троцкому, в котором поэт сделал всё возможное, чтобы защитить себя и своих друзей от произвола ЧК и от опасности “внесудебной расправы”, столь обычной в те страшные годы, о которых Есенин писал в стихах “Ещё закон не отвердел, // страна шумит, как непогода, // хлестнула дерзко за предел // нас отравившая свобода”. А всеильный Троцкий — второе лицо в государстве, и Есенин сочиняет ему письмо, которое, однако, осталось неотправленным. Сосновский, о котором идёт речь в письме, был в то время одним из самых яростных журналистов-русофобов.

“Дорогой Лев Давидович!

Мне очень больно за всю историю, которую подняли из мелкого литературного (зачёркнуто и не разборчиво) карьеризма т. Сосновский и Демьян Бедный.

Никаких оправданий у меня нет у самого. Лично я знаю, что этим только хотят подвести (Попутчи “ков”) других “попутчиков”.

О подсиживании знают давно, и потому никто не застрахован от какого-нибудь мушиного промаха. Чтоб из него потом сделали слона.

Существо моё возмущено до глубины той клеветой, которую воздвигли на моих товарищей и на меня (с Демьяном мы так не разговаривали).

Форма Сосновского... (без)... (кружит голову), и приёмы их борьбы отвратительны. Из всей этой истории нам больно только то, что ударили

по той струне, чтоб перервать её, (и) которая служила Вашим вниманием к нам.

Никаких антисемитских речей я и мои товарищи не вели.

Всё было иначе. Во время ссоры Орешина с Ганиным я заметил нахально подсевшего к нам типа, выставившего своё ухо, и бросил (громко) фразу: “Дай ему в ухо пивом (в ухо). Тип обиделся и назвал меня мужицким хамом, а я обозвал его жидовской мордой.

Не знаю, кому нужно было и зачем делать из этого скандал общественного характера.

Мир для меня делится исключительно только на глупых и умных, подлых и честных. В быту – перебранки и прозвища существуют, (но) также как (и) у школьников, и многие знают, что так ругается сам Демьян.

Простите за то, (неразборчиво) (дост(авил) если беспокоил всей этой историей Ваши нервы, которые дороги нам как защита и благосостояние.

Любящий Вас С. Есенин”.

Естественным образом дело четырёх поэтов было пристёгнуто к делу об “Ордена русских фашистов”, и ОГПУшники, занимающиеся “Орденом”, вспомнили о нём. А их внесудебное заключение о деле Ганина заканчивалось так:

“После нашумевшего процесса четырёх поэтов – Ганина, Есенина, Орешина, Клычкова, – обвинявшихся в антисемитской агитации, Ганин как один из проходивших по этому делу, в кругах националистически настроенной интеллигенции приобретает авторитет русофила”.

“Второй обвиняемый – Пётр Чекрыгин – при допросе от 6 ноября указал, что к деятельности организации он имел косвенное отношение, что лишь однажды кто-то ему дал прочесть программу Ордена русских фашистов, в которой было тринадцать пунктов. На последней странице листа, – заявляет Чекрыгин, – собственноручно добавил два пункта – переселение евреев на свою родину в Палестину и эмансипация индивидуальности в порабощённом русском человеке”.

“Заслуживает также внимания следующий случай, имевший место в день ликвидации организации 1 ноября прошлого года. Ответственные сотрудники ОГПУ товарищи Беленький, Агранов, Славатинский, Якубенко и другие, законно явившись на квартиру Чекрыгиных, застали там пьяную компанию поэтов, литераторов, проституток. Был предъявлен ордер на право ареста Чекрыгиных, и у присутствующих спросили документы. В ответ на предложение сотрудников некоторые из пьяной компании бросились в драку, нанеся трём сотрудникам побои. Этот характерный случай лишний раз наглядно вскрыл картину вышеописанного и доказал способность этих лиц на любое преступление”.

“Считая следствие по настоящему делу законченным и находя, что в силу некоторых обстоятельств передать дело для гласного разбирательства в суд невозможно (подчёркнуто мной. – Ст. К.), полагали бы войти с ходатайством в Президиум ВЦИК СССР о вынесении по делу Ганина, Чекрыгина, Чекрыгина, Дворяшина, Галанова, Никитина, Кудрявцева, Александровича-Потеряхина, Кроткова, Головина, Глубоковского, Колобова, Сахно и Заугольникова внесудебного приговора”.

**Уполномоченный 7 отдела СО ОГПУ
Врачев**

**согласный Нач. 7 отдела СО ОГПУ
Славатинский”.**

Положение всех русских поэтов есенинского круга осложнялось тем, что, помимо преследований со стороны чекистов, их судьбами занимались и высшие власти того времени, прежде всего, надо вспомнить, что практика “внесудебных приговоров” опиралась на ленинско-свердловскую формулу из “Декрета совета народных комиссаров” от 27 июля 1918 года, гласящую: “Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона”. Так что Есенин

знал, чем может закончиться бытовая ссора, возникшая в пивном зале и раздутая Демьяном Бедным и журналистом Сосновским... Но поэт и предположить не мог, что его имя и после смерти будет оболгано на высшем уровне, что “есенинщина” будет объявлена антисоветским явлением не каким-то журналистом, а одним из высших руководителей партийной жизни тех лет Николаем Бухариным.

Судьба поэтов русского крестьянства была предопределена как неизбежная трагедия уже в раннее послереволюционное время. Продразвёрстка, гражданская война, рассказывание, первое раскулачивание, белый и красный террор подрубили многие корни крестьянской жизни. Но мира для неё не наступило и после окончания гражданской войны.

Эксплуатируя, да ещё догматически, некоторые общие положения марксизма о приоритетной ценности пролетариата по сравнению с крестьянством, наши идеологи 1920-х годов отнесли к нему как к реакционному классу, торозящему строительство социализма. Их не смущало то обстоятельство, что “реакционным” приходилось объявлять чуть ли не восемьдесят процентов населения России, их не пугало, что они начинают длительную войну против подавляющего большинства народа. Ещё бы, в их руках была партийная власть, карательные органы, армия! Они были уверены в конечном успехе своего чудовищного эксперимента. Трагедия усугублялась тем, что их не сдерживали никакие нравственные, традиционно-исторические, национальные нормы. Никакого сочувствия к крестьянам, никакого понимания крестьянской души у них не было, да и быть не могло: ведь, как это ни парадоксально, основные идеологи того времени – Троцкий, Сталин, Свердлов, Каменев, Бухарин, Зиновьев, Ярославский, Луначарский, Дзержинский, Радек и другие – происходили из каких угодно слоёв населения, но только не из крестьянского. Ни один из них.

Большую часть жизни к тому же все они прожили в эмиграции. Откуда им было знать и любить русского крестьянина, если их судьба профессиональных революционеров была бесконечно далека от нужд и забот рязанского или тамбовского мужика? Если они были чужды ему не только по социальному, а часто и по национальному складу? А тут ещё в результате рокового столкновения этих двух исторических сил по стране прокатились крестьянские восстания начала двадцатых годов (Тамбовское, Ишимское, Северо-Кавказское, Кронштадтское), и как закономерный ответ на них возникла целая система репрессий и всяческих мер, объединённых сформировавшейся к середине двадцатых годов идеей “раскрестьянивания” России. Кстати, автором этого зловещего термина стал не кто-нибудь, а Н. И. Бухарин. В 1924 году на одном из совещаний главных идеологов эпохи он заявил: *“Мы должны вести такую политику, с какой мы ведём крестьянство, учитывая весь его вес и его особенности, вести его по линии раскрестьянивания точно так же и в области художественной литературы, как и во всех идеологических областях”*

Не случайно, что именно Бухарину М. Горький в 1925 году шлёт с Капри письмо-совет или даже письмо-инструкцию со следующим предложением:

“Надо бы, дорогой товарищ, Вам или Троцкому указать писателям-работчим на тот факт, что рядом с их работой уже возникает работа писателей-крестьян и что здесь возможен, даже неизбежен конфликт двух “направлений”. Всякая “цензура” тут была бы лишь вредна, заострила бы мужикопоклонников и деревнелюбов, но критика – и нещадная – этой идеологии должна быть теперь же. Талантливый трогательный плач Есенина о деревенском рае – не та лирика, которой требует время и его задачи, огромность которых невообразима”.

Через год Н. И. Бухарин в “Злых заметках”, которые, в сущности, явились партийным манифестом, направленным против русского крестьянского присутствия в литературе, с вдохновением выполнил пожелания Горького. Эта статья и её главные положения о реакционности поэзии Есенина, русского национального характера и деревенской жизни на долгие десятилетия определили враждебное отношение партийной элиты к “крестьянскому пути” литературы и искусства. Идеи Бухарина из “Злых заметок” молниеносно подхватила целая армия идеологов, газетчиков, партийных пропагандистов, усилиями которых в кратчайшее время была организована настоящая травля крестьянских писателей, продолжавшаяся более десяти лет, до той поры, пока почти все они не были репрессированы и расстреляны.

Видимо, поэтому – в результате многолетнего искоренения – крестьянская литература следующего за есенинским поколением выглядит куда скуднее, беднее, малочисленнее, нежели литература того же корня, сложившаяся до революции. Уже с начала двадцатых годов стало непрестижным, скорее – опасным, быть крестьянским писателем. Недаром в это время у Петра Орешина вырываются горькие строки о том, что **“сельские баяны, // певцы крестьянской стороны, // как будто родине багряной // мы стали больше не нужны!”** А когда началась коллективизация, крестьянские писатели есенинского поколения были почти все фактически выброшены из литературы, ибо в основном они не приняли переустройства деревни, ссылки крестьян, разорения деревни, голода.

* * *

В 1987 году Евгений Евтушенко обратился к Генеральному секретарю Советской компартии М. С. Горбачёву с чрезвычайно важной просьбой:

Уважаемый Михаил Сергеевич!

Переpravляю Вам письмо с просьбой о реабилитации несправедливо обвинённых в своё время и казнённых деятелей партии и среди них, в первую очередь, Николая Ивановича Бухарина, которого Ленин называл “законным любимцем партии”. Это письмо подписано представителями передовой части нашего рабочего класса с КамАЗа. Под этим письмом могли бы подписаться все лучшие представители нашей интеллигенции. Все те, кто не только поддерживают на словах перестройку и гласность, а проводят их в жизнь, безусловно разделяют мнение авторов этого письма. Реабилитация Бухарина давно назрела, и год семидесятилетия нашего государства – самое лучшее для этого время. Мы как наследники революции не имеем права не вспомнить добрыми словами всех, кто её делал.

С искренним уважением Евг. Евтушенко.

Как один из главнейших идеологов “шестидесятничества” он должен был знать, что ему приходится восстанавливать репутацию не просто невинной жертвы сталинского режима, но и жестокого теоретика мировой революции, утверждавшего: **“Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как ни парадоксально это звучит, методом выработки человечества из человеческого материала капиталистической эпохи”** (Бухарин Н. Э. “Экономика переходного периода”. М., 1920).

Евтушенко, называвший себя “есенинцем”, то ли не знал, то ли закрыл глаза на то, что писал в своей статье “Злые заметки” через год после гибели Есенина “законный любимец партии”. В своих “Злых заметках”, которые, в сущности, были идеологическим постановлением, опубликованным 12 января 1927 года в газете “Правда”, Бухарин направил острие удара против главного “крестьянского” поэта – Сергея Есенина, надолго определив практику репрессий по отношению к крестьянской литературе. Но “Злые заметки” были направлены не только против “есенинщины”. В них Бухарин издевался над поэзией Тютчева, над расстрелянными дочерьми последнего царя (**“которые в своё время были немного перестреляны, отжили за ненужностью свой век”**). С недостойным для мужчины и писателя остроумием иронизируя над несчастными жертвами революционного фанатизма, Бухарин накликал и свою судьбу: его тоже, когда он стал не нужен Сталину, говоря бухаринскими же словами, **“немного перестреляли за ненужностью”**. Как говорит-ся, *поднявший меч...*

В этих же “Злых заметках” академик Бухарин с иронизирует над “академиком” Буниным, а о Есенине пишет как об идейном враге с особенной злобой: **“Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так называемого “национального характера”;** “**Всё это наше рабское историческое прошлое, ещё живущее в нас, воспевается, возвеличивается, ставится на пьедестал лихой и в то же время пьяно рыдающей поэзией Есенина”;** “**Причудливая смесь из “кобелей”, “икон”, “сисястых баб”, “жарких**

свечей”, берёзок, луны, сук, господ бога, некрофилии... и т. д. — всё это под колпаком юродствующего квазинародного национализма — вот что такое есенинщина”. Остальные борцы с крестьянской литературой словно бы только и ждали этих формулировок одного из главных идеологов теории “пролетарского принуждения”.

“Что такое есенинщина? Это олицетворение хулиганства, уныния, пессимизма и наркомании. Все эти качества были и у Есенина. Даровитый юноша, он прямо из деревни попадает в Петербург и здесь втягивается в кабацкую жизнь, начинает пьянствовать и развратничать... Поэт стал хулиганом. В таком состоянии встретил Есенин приход советской власти. С этого момента начинается трагедия пьяницы, который, обладая большим самолюбием, в то же время чувствует, что уже выдохся и ничего не может дать новой жизни. Новая жизнь, отбрасывающая всё гнилое, отбросила и выдохшегося поэта” (А. В. Луначарский).

“В стихах типа Клычкова и Клюева мы видим воспевание косности и рутины при охаивании всего городского, “большевистского”, словом, апологию “идиотизма деревенской жизни” (А. Безыменский).

“Любовь к природе в творчестве этих писателей — только антитеза ненависти к городу, фабрике, машине, пролетариату, а синтез — это власть кулачья” (О. Бескин).

“Поэмы “Деревня” и “Плач по Сергею Есенину” — совершенно откровенные антисоветские декларации озверелого кулака” (Л. Тимофеев).

“Социальная родина Есенина — зажиточная патриархально-старообрядческая группа крестьянства. Он не представитель крепкого кулацкого ядра, активного, бодрого, “практического”, а “блудный сын” этой группы, сын, кровно с нею связанный, физически, психологически и культурно ею вскормленный...” (Б. Розенфельд).

“Он перешагивает шаг за шагом, год за годом со своей лихой, не сдающей кулацкой совестью по головам молодых поэтов” (Д. Петровский о Павле Васильеве).

“Все эти греко-рязанские гекзаметры насквозь насыщены кулацкой радостью накопительства” (О. Бескин о П. Радимове).

И такого рода доносами и приговорами в адрес крестьянских писателей переполнена пресса тех лет. А в 1934 году Бухарин, сделавший себе после “Злых заметок” репутацию главного идеолога партии, добился права сделать на I съезде советских писателей доклад “о современной поэзии”, естественно ещё раз прошёлся “по есенинщине”, отозвался о Есенине как о “поборнике кнutoбойства” и объявил всему многонациональному съезду писателей, что “русские до 1917 года были нацией обломовых”.

Однако то, что Евтушенко обратился с письмом к Горбачёву о необходимости “в первую очередь” реабилитировать “любимца партии” Бухарина, неудивительно. Основная мысль этого письма у него, чья родня была в рядах революционной элиты, заключена в словах: “...мы как наследники революции...”. Но эту революцию делали не только его два деда, её делали Троцкий и Тухачевский, Свердлов и Радек, Бела Кун и Розалия Землячка... Так что можно понять, почему Евгений Александрович написал стихи, воспевающие Иону Якира, и призвал власть и общество поставить ему памятник. В те же годы (1989) были опубликованы документы о том, что Якир, входивший в комиссию по решению судьбы Бухарина и Рыкова, проголосовал за расстрел Бухарина. Более того, Сталин предложил доследовать дело Бухарина, а потом решить вопрос о его судьбе, но Якир ещё раз проголосовал за незамедлительный суд и расстрел, не понимая, что следующим на месте “любимца партии” окажется он. Вспоминаю, как в Архангельске сестра Алексея Ганина Мария трясушей старушечьей рукой протянула мне пожелтевшую от времени газетную вырезку, которую она хранила как зеницу ока:

“Военный трибунал МВО 12 октября 1966 года.

Дело по обвинению Ганина А. А. 1893 года рождения, арестованного 2 ноября 1924 года, пересмотрено военным трибуналом Московского военного округа 6 октября 1966 года. Постановление от 27 марта 1925 года в отношении Ганина А. А. отменено и дело о нём прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Ганин А. А. реабилитирован посмертно.

Зам. председателя военного трибунала МВО, полковник юстиции И. Баурин”.

Перечитываю текст и сокрушаюсь: почему советская власть реабилитировала поэта, а Евгений Евтушенко отказал ему в реабилитации и как продолжатель идей Бухарина не воскресил имя Ганина в своей “Антологии”?.. А ведь с какой страстью он рассказывал о восстановлении исторической справедливости:

“...и возникла мысль составить эту антологию, собрать воедино все кусочки русского национального духа, чьё лучшее воплощение – наша поэзия. Собрать её по обломкам, по крупицам, по крошкам, зашвырнутым ветрами истории в сибирские лагеря, в дома престарелых во Франции, в семейные архивы, в следственные дела КГБ.

У нашего народа на семьдесят лет отобрали историю его собственной поэзии, лишив его возможности читать тех поэтов, которые эмигрировали или были перемолоты гигантскими челюстями ГУЛага”.

Как можно было излагать такие высокие мысли и чувства и одновременно пройти рукой цензора по стихам Пимена Карпова, а говоря о судьбе Ганина, сделать вид, что такого поэта не было и нет в русской поэзии, и обвинить замечательного поэта Николая Тряпкина в “шовинизме” и “национализме”! Поистине, он не зря требовал реабилитации Бухарина, главного борца с “есенинщиной”!..

Но зато с каким знанием дела он писал в своих предисловиях о поэтах другого происхождения и другой судьбы. “Во время гражданской войны добровольцем ушёл в Красную армию, затем в ЧК. Из тихой еврейской семьи...”

Это сказано о Михаиле Светлове, настоящая фамилия которого, как пишет сам Е. Е., Шейхман. И даже добавляет такую подробность: “Писал стихи для подпольных троцкистских листовок”, – видимо, считая это важным фактом биографии.

О Михаиле Голодном Е. Е. в предисловии пишет кратко и выразительно: “Как Светлов, в юности работал в ЧК”. Настоящую фамилию автора Е. Е. также сообщает без комментариев: “Эпштейн”.

Об Эдуарде Багрицком Евгений Евтушенко сообщает следующие сведения: “Псевдоним Эдуарда Георгиевича Дзюбина <...> Родился в еврейской торговой семье <...> принял революцию, сражался в особых отрядах”.

“Особые отряды” – это отряды “частей особого назначения” (ЧОН), прославившиеся во время гражданской войны **особой жестокостью** при подавлении крестьянских восстаний. Видимо, зная это, Евгений Александрович в предисловии к стихам Багрицкого признаётся: “Его стихи о нашем веке в стихотворении “ТВС” морально для нас неприемлемы после стольких человеческих трагедий: “но если он (век. – **Ст. К.**) скажет: “Солги” – солги. // Но если он скажет: “Убей” – убей”. Но нельзя выдавать эти строки, написанные в <19>29 году, видимо, во время депрессии (или очередного припадка астмы, от которой поэт и умер), за философское кредо его поэзии, как пытались это делать некоторые недобросовестные интерпретаторы”. Это, видимо, обо мне... .

* * *

Всё наше “шестидесятничество”, все его идеологи и апологеты потратили немало сил и бумаги, чтобы объявить творчество Евтушенко прямым продолжением и поэтических и мировоззренческих традиций двух веков – пушкинского “золотого” и “блоковского” Серебряного. **“В поэтической родословной Евгения Евтушенко, – писал известный критик Станислав Лесневский, – сплелись блоковская тревожность, маяковская трибунность, есенинская нежность и некрасовское рыдание”**. Евгению Александровичу было мало подобных комплиментов, и он добавил от себя:

“Я – Есенин и Маяковский, // Я – с кровиночкой смеляковской”, “По характеру я пушкинианец, по сентиментальности – есенинец, по социальности – некрасовец, и, как ни странно – пастернаковец” (из интервью Е. Евтушенко “Новой газете”).

В поэме “Казанский университет”, написанной к 100-летию со дня рождения Ленина, “пушкинианец” много раз вспоминал имя Пушкина: “Мы под сенью Пушкина росли”, “Наследники Пушкина, Герцена, мы – завязь. Мы вырастим плод, понятие “интеллигенция” сольётся с понятием народ” и т. п.

Но никогда диссидентская “пятая колонна”, в 70-е годы уже сформировавшаяся и начавшая хлопоты об эмиграции, о выезде из “Рашки”, о двойном гражданстве, сочинявшая коллективные письма в защиту Синявского, написавшего глумливые страницы об Александре Сергеевиче в книге “Прогулки с Пушкиным”, выходящая на Красную площадь с протестами против **“вторжения наших войск в Чехословакию”**, – никогда такая “интеллигенция” не могла слиться с народом и простонародьем хотя бы потому, что со времён революции и гражданской войны, со времён Великой Отечественной в памяти коренного “государствообразующего народа” было прочно заложено понимание того, что всякое посягательство на государство, всяческая тотальная борьба с ним рано или поздно оборачивается всенародной бедой и унижением перед чужеземной волей.

Никогда эта интеллигенция не понимала Пушкина, не желавшего *“сменить отечество или иметь другую историю кроме той, которую нам дал Бог”*. Е. Е., называя себя историческим символом нашего государства, глумится над пушкинским Медным Всадником:

*Не раз этот конь окровавил копыта,
Но так же несётся он скачет во тьму,
Его под уздцы не сдержать! Динамита
В проклятое медное брюхо ему!*

Стихи, достойные пера Бродского или какой-нибудь Горбановской... Е. Е. за всю жизнь так и не понял, что Пушкин, написавший “Историю Петра”, знал, что Пётр, насаждая европейские семена в русскую землю, наряжая свою элиту в парики и голландские камзолы, возвышая в своём окружении немцев, не жалея чёрную мужицкую кость при строительстве Петербурга, осознавал, что без этого жестоководия невозможно построить великое государство:

*Толпой любимцев окружённый,
Выходит Пётр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен,
Движенья быстры, он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Идёт. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь,
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могучим седоком...*

Всадник и конь – это, по Пушкину, единое целое, как у Фальконета, и это “целое” называется в роковые времена “единством власти и народа”, государства и всех его сословий:

*Какая дума на челе!
Какая сила в нём сокрыта!
А в сём коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь
И где опустишь ты копыта?*

*О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы...*

А что же при такой власти происходит с тёзкой Евтушенко, чиновником Евгением из “Медного всадника”? Чем закончился его бунт?

*Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошёл*

*И взоры дикие навёл
На лик державца полумира.*

.....
— *Добро, строитель чудотворный!* —
Шепнул он, злобно задрожав. —
Ужо тебе!.. — И вдруг стремглав
Бежать пустился...

Похожим образом повёл себя и наш Евгений, проклиная Медного Всадника за то, что у его коня **“окровавлены копыта”**, за то, что его **“под уздцы не сдержат”**... И он бросает в лицо бронзовому кентавру: **“Динамита в проклятое медное брюхо ему”**... Но из этого бунта у нашего Евгения тоже ничего не получается, он тоже **“бежать пустился”** и добежал аж до Америки. И если пушкинского Евгения похоронили на пустынном острове: **“нашли безумца моего // и тут же хладный труп его // похоронили ради Бога”**, — то прах его тёзки, нашего “пушкинианца”, который возненавидел Медного Всадника, упокоился тоже на своеобразном острове — в патриархальном сталинском Переделкино. Он так и не успел сказать Путину: **“Добро, строитель чудотворный!”** А красавцу-коню, на котором гарцевали и Вещий Олег, и монах Пересвет, и **“властелин судьбы Пётр”**, и командир Первой Конной Семён Будённый, и маршал Георгий Жуков на параде Победы, **“бедный безумец”** Евгений возмечтал **“разорвать брюхо динамитом”**! Но ведь из этой же породы были “кони НКВД”, изображённые мной в стихотворении “Очень давнее воспоминание”, которое Евгений Александрович решил-таки напечатать в своей антологии “Строфы века”, с язвительным комментарием: *“Есть мнение, что в нём не столько осуждение антинародного террора, сколько упоение силой власти”*.

Да и “смеляковскую кровиночку”, которую Евгений Александрович якобы ощущал в себе, нельзя принимать всерьёз, потому что в одном из самых блистательных и трагических своих стихотворений “Пётр и Алексей” Ярослав Смеляков, трижды получавший лагерные сроки от Сталинского государства, оправдал деяния Петра Первого:

*День — в чертогах, а год — в дорогах,
по-мужицкому широка,
в поцелуях, в слезах, в ожогах
императорская рука.*

*Та, что миловала и карала,
управляла державой всей,
плечи женские обнимала
и осаживала коней...*

Есть ещё одно обстоятельство, которое никогда не позволяло Евгению Александровичу считать себя “пушкинианцем”. Возможно, он невнимательно читал Пушкина, потому что Пушкин с его свободомыслием так высказывался по национальному вопросу, что Евгений Александрович никогда бы не согласился с ним. Вот что писал Александр Сергеевич в письме к издателю Бестужеву: *“Если согласие моё не шутя тебе нужно для печатания “Разбойников”, то я никак его не дам, если не допустят слова “жид” и “харчевня”*. Одним словом, Пушкин не терпел цензуры.

А поскольку Евгений Александрович в одном из своих выступлений 90-х годов призвал за употребление подобных нецензурных слов (“жид”, “хачик”, “хохол” и т. д.) к уголовной ответственности, то его нельзя считать в полной мере стопроцентным “пушкинианцем”.

Есть какая-то мистика в том, что, поглумившись над пушкинским “Медным всадником”, Евтушенко в эпоху горбачёвской криминальной революции во время идеологической распри между “патриотами” и “демократами” вольно или невольно услышал в грохоте танковых гусениц *“тяжелозвонкое скаканье по потрясённой мостовой”* и обнаружил родство “Медного всадника” с конями НКВД:

“Где были Бондарев, Распутин, Белов? <...> Придя в окружённый танками российский парламент в полдень 19 августа, я увидел не РСФСРовских литературных вождей, а пришедших на защиту российской демократии, отлучённых бондаревским СП РСФСР от русского патриотизма Ю. Черниченко, Ю. Корякина, а затем выдающегося учёного-лингвиста В. В. Иванова, на которого Секретариат СП РСФСР подал в суд. За что? В. Иванов на сессии Верховного Совета якобы оскорбительно и бездоказательно объявил СП РСФСР “фашистской организацией” <...> Одним из первых признаков фашизма является расовая нетерпимость, включая антисемитизм. Разве не в органах печати СП РСФСР велась постоянная антисемитская кампания? Так за что же вы собираетесь судить В. Иванова, господа охотнорядцы? Разве ваш антисемитизм не общеизвестен, да ещё и всемирно? Второй признак фашизма – это милитаризм... Разве антинародный путч не есть воплощение милитаризма? Как же тогда квалифицировать телевизионные и печатные приветствия путчистам двух идеологических боевиков СП РСФСР – Проханова и Куняева... Как не совестно глядеть в глаза людям Проханову и Куняеву, которые приветствовали антинародный государственный переворот? Когда-то Куняев написал стихотворение “Скачут кони НКВД...”. Как же он позволил себе радоваться бронированным коням крочковского НКВД? Почему же фронтовик Бондарев, автор такого человеческого романа “Тишина”, не поднял своего голоса, когда его соавтор по “Слову” генерал Варенников пытался двинуть танки против собственного народа?” Но настоящий “антигосударственный переворот” произошёл у нас не в дни ГКЧП, а через два года с лишним, и кровь, пролитую в октябре 1993-го года, Евгений Евтушенко благословил...

Но Евгению Александровичу было мало ощущать себя, как он говорил, “пушкинианцем”, и потому он не раз обращался в своих чувствах к образу самого знаменитого поэта Серебряного века. “Когда я думаю о Блоке, когда тоскую по нему...” – писал он в стихотворении 1959 года. “Взойдите те, кто юн, // на блоковский валун” (1972). “Когда я напишу “Двенадцать”, // не подавайте мне руки”, – заявлял он в 1970-м каким-то своим недругам. “Он учил меня Блоку” (из воспоминаний об А. Межирове”, 2009). “Может, пристыжает нас Блок Александр Александрович?” (из поэмы “13”, середина 90-х годов). “Перебирая чулан, я случайно наткнулся на дореволюционную книжку Блока. Такое испытал наслаждение” (середина 90-х). “Дневник Блока, по сути, – документальный роман об Александре Блоке и его времени” (2014). Мало того. В своей антологии “Десять веков русской поэзии” Е. Е. свидетельствует о том, что не просто читал, но тщательно изучал исторические взгляды Блока, прежде чем написать обширное предисловие к его стихам. Однако перечитывая блоковские дневники, я удивился тому, что Е. Е., положивший столько сил на борьбу с “охотнорядцами и “черносотенцами”, то ли читал блоковские дневники “по диагонали”, то ли забыл прочитанное, то ли вдруг закрыл глаза и заткнул уши, чтобы ничего не знать и не слышать о размышлениях Блока, которые поэт позволял себе в роковые дни весны 1917 года, когда сразу же после Февральской революции Временным правительством была отменена черта осёдлости и политическая жизнь России изменилась коренным образом.

Александр Блок в это время входил в Чрезвычайную следственную комиссию, изучавшую работу Временного правительства, и обучился новому, возникшему на его глазах революционному жаргону, на котором велись заседания этой ЧК:

“Господи, Господи, когда, наконец, отпустит меня государство, и я отвыкну от ивудского языка и обрету вновь свой русский язык, язык художника???”

Вот какие мысли и чувства владели в дни революционного рокового 1917 года душой поэта, спустившегося с башни “из слоновой кости” на грешную землю, из окружения “прекрасных дам” в петербургскую политическую толчею... И такого рода записями изобилуют многие страницы его “Дневников” и “Записных книжек”, которыми якобы зачитывался “блоковед” Евгений Евтушенко.

Впервые эти “нецензурные” записи Блока увидели свет в статье известного литературоведа, сотрудника Института мировой литературы Сергея Небольсина, опубликованной в журнале “Наш современник” (№ 8, 1991) под

названием “Искажённый и запрещённый Александр Блок”. Евтушенко, начавший работу над своей антологией “Строфы века” в конце 80-х и начале 90-х годов, не мог не знать этой публикации Небольсина, приковавшей в те годы внимание всей советской читающей публики. Напомню, что тираж “Нашего современника” тогда достиг полумиллиона экземпляров, и Евгений Александрович, зная это, в предисловии к антологии не удержался от соблазна продолжить мировоззренческую борьбу с нами:

“Критик Кожин пытался стереть с лица земли “поэтов-эстрадников”, в число которых он включал меня, свистя над нашими головами, как двумя японскими мечами, именами Рубцова и Соколова. Поэт Передреев написал геростратовскую статью о Пастернаке. Поэт Куняев перегеростратил его, ухитрившись оскорбить в своих статьях романтика Багрицкого и безвременно ушедшего Высоцкого. Но чемпионом геростратизма стал талантливый поэт Юрий Кузнецов, выступивший против поэтов Мартынова и Винокурова, которые дали ему рекомендацию в Союз писателей, а заодно и против всех женщин, пишущих стихи”. Вот как вездливо и пристрастно разглядывал и комментировал Е. Е. наши тексты и притом “не заметил” обнародованных Небольсиным “изъятий”, написанных рукой А. Блока летом 1917 года:

“16 июня 1917 г. ...на эстраде – Чхеидзе, Зиновьев (отвратительный), Каменев, Луначарский. На том месте, где всегда торчал царский портрет, – очень красивые красные ленты (...) и надписи через поле – Съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов. Мелькание, масса женщин, масса еврейских лиц”... [“И жидовских тоже”] И такого рода “нецензурщины” в “дневниках Блока немало.

В 1920–1930-е годы архивом Александра Блока заведовала его вдова Любовь Дмитриевна Менделеева. Но видимо, для того, чтобы из архива не вырвались на волю всяческие опасные размышления из блоковских “Дневников” и “Записных книжек”, к архиву был прикреплен надсмотрщик-литературовед и по совместительству цензор Владимир Николаевич Орлов, который “присматривал” за Менделеевой. Поэтому она не могла не знать, что его настоящая фамилия Шапиро...

Ах, Александр Александрович! Если бы он предвидел, что его поклонником будет Евтушенко, он бы, конечно, сам своею собственной рукой уничтожил эти пресловутые записи, чтобы не ставить знаменитого русско-советского поэта в двусмысленное положение...

В одном из своих интервью Е. Е. заявил, что он – единственный, кто написал “художественное произведение” о событиях 1993 года. Неправда. О событиях этих кровавых дней написана замечательная повесть Сергея Есина “Стоящая при дверях”, эти события отражены в пьесе Василия Белова “Семейные праздники”, в романах Александра Проханова и Сергея Шаргунова, об этих событиях написаны стихи Юрия Кузнецова и Глеба Горбовского, Николая Тряпкина и Станислава Куняева, Ивана Переверзина и Михаила Анищенко. Всех не перечислишь.

Е. Е. назвал свою поэму о трагедии 1993 года “Тринадцать”, как бы примеряя на себя роль Александра Блока, создавшего великий эпос о Великой Октябрьской революции. Поэма же Евтушенко повествует о Великой Криминальной революции или, скорее, о Великой Контрреволюции, не сумевшей победить в гражданской войне 1918–1922 годов и взявшей реванш лишь в 1993-м...

Александр Блок написал свою поэму в метельные дни 1918 года, услышав “музыку” истории, и воспринял идущих “державным шагом” красногвардейцев, как апостолов. Большевиков, эсеров, масонов, большевиков-жидомасонов в поэме нет. Есть двенадцать кровных сыновей русского простонародья, вчерашних солдат Первой мировой... Мистический, социальный, исторический и религиозный пафос блоковской поэмы “Двенадцать” до сих пытаются разгадать историки, философы, богословы.

“Двенадцать – большие, – писала в своих размышлениях о Блоке Татьяна Глушкова. – И они только вырастают в пути, несоизмеримые ни с “голодным псом”, который “ковыляет позади”, ни с буржуем, “безмолвным, как вопрос”, ни с “витией”. Это – принципиальный взгляд “летописца” первого, разрушительного этапа Революции, духовное величие которой раскроется лишь в длительном будущем” <...> “Куда идут они? Когда стихнет, развеется вьюга, белая тьма? Когда уляжется ярая, враждебная

“двенадцати” стихия взбунтовавшейся тьмы, в которой не видно ни зги “за четыре за шага”? Пусть скажет об этом позднейший свидетель, позднейший поэт. А Блок только звал “грядущие века”, слыша “безбожный”, “каторжный”, мучительно-героический, “мерный”, наконец, и “державный шаг”... двенадцати, Сочувствуя им в небывалом, “загадочном” их дерзновении, в тяжких тяготах их пути “к синей бездне будущего”.

Закончив поэму, Александр Блок сделал запись в дневнике: “Сегодня я гений”. И он был прав и как поэт, и как патриот, и как пророк, и как великий мистик.

В поэме же Евтушенко “13”, вступившего в нелепое соревнование с Блоком, его тринадцать персонажей суть какие-то отбросы не человечества, а, по словам Александра Зиновьева, какого-то “человека”.

“Идут тринадцать работяг, один мордатый, другой худой, один поддатый, хотя седой. Мордатый-злющий нудит, сопя, на всех плюющийся и на себя”.

В числе “тринадцати” “бывший цековский санузлист”, а “поддатый, как рубль помятый, по слухам бывший аристократ, по кличке просто Денатурат”. А рядом с ними “сквернослов – любитель выпить на шермачка”, тут же какой-то “мормышечник”. А следом за ним **“поганец враль”**, который то “больше витийствует”, то “фашиствует”. Рядом с ним – “красный” не от **“убеждений”**, а **“от приятных времяпровождений”** спившийся здоровяк в татуировках. Тут же **“утробный антидемократ”** с наколотым **“Сталиным на мускулке”**. За ним идёт философ, **“презирающий любую власть”**; кто-то из них мечтает **“с тоской зверёныша <...> нам бы Адольфа Виссарионовича”**. Пародировав Блока, Е. Е. сопровождает поход “в будущее своих тринадцати рефреном **“марш-марш назад, наш русский зоосад”**. Неудивительно слышать слова о “русском зоосаде” от автора стихотворения “Русские коалы”, но, по мстительной иронии судьбы, Евтушенко, сочинив этот слоган, повторил мою мысль о том, что во многих песнях Высоцкого жизнь русского простонародья изображена, как смесь **“зоопарка с вытрезвителем”**. Евтушенко в своём письме в “Литературку” гневно осудил меня за такое истолкование стихов Высоцкого. Но в “Тринадцати” он, в сущности, позаимствовал тот же образ, поскольку и **“алкаш с бакалей”**, и персонажи из **“милицейского протокола”**, и семейный дурдом **“Вани и Зины”** в исполнении Высоцкого есть тот же **“русский зоосад”** из его обитателей, имя которым “коалы”.

Но нам не дано предугадать, как наше слово отзовется: глумление над “Тринадцатью” обернулось у Евтушенко глумлением над всем **“советским зоосадам”**, над его же героями “Братской ГЭС” – Изей Крамером и Ньюшкою, над геологами из книги “Разведчики грядущего” и романа “Ягодные места”, над работягами из “Поэмы КамАЗ”, над проектировщиками БАМа. Неужели нефтяные поля Тюмени и алмазные шахты Якутии, поля Казахской целины и подземные города в каменных толщах, окружающих Красноярск, сооружённые на случай атомной войны, восставший из развалин Ташкент и энергетическое кольцо атомных и гидроэлектростанций – неужели вся эта мощь, наряду с Байконуром и Плесеком, сооружена совковым сбродом, который, покачиваясь с похмелья, маршировал по мрачным улицам Москвы октябрьской ночью 1993 года? В одном из своих стихотворений Евтушенко вспоминает о том, как Зинаида Гиппиус отказалась пожать руку Александру Блоку после того, как прочитала поэму “Двенадцать”. Ухватившись за это “нерукопожатие”, Евтушенко с пафосом заявил: **“Когда я напишу “Двенадцать”, не подавайте мне руки”**. Но он написал “Тринадцать”, и я думаю, что любой из его читателей и строителей Братской ГЭС, некогда слушавших в течение четырёх часов в исполнении автора поэму во Дворце культуры города Братска, после прочтения “Тринадцати” получили бы полное право не подавать руки своему бывшему кумиру.

* * *

... Блокская поэма “Двенадцать” написана за два морозных и голодных дня 1918 года. Блок написал её в состоянии высшего вдохновения, когда он услышал в поступи двенадцати простонародных апостолов ход истории. Евгений Евтушенко вымучивал свою поэму “Тринадцать” в тёплой и сытой Америке целых три года – с 1993-го по 1996 год. Сущность “Двенадцати” Блока

в том, что эти *новые апостолы* сами не подозревают о своей роли в истории человечества. Они ещё не знают о том, что победят в гражданской войне и внутренних врагов, и внешних хищников всемирной Антанты, что выдержат и коллективизацию, и индустриализацию, что очистят свои ряды от всех “врагов народа”, мешающих строительству нового мира, что сумеют встретить натиск всеевропейского *коричневого зла* и победить его. Символами этого поколения станут солдат Василий Тёркин и генерал Карбышев, Юрий Бондарев и Александр Покрышкин, Зоя Космодемьянская и 28 панфиловцев. Таких людей демократы боялись. Не зря же незадолго до августа 1991 года Михаил Горбачёв собрал пленум ЦК КПСС, на котором все ветераны войны были выведены из Центрального Комитета Коммунистической партии. Этот партийный переворот был первым шагом к тому, чтобы повернуть фарсовую авантюру с пучком, после чего уже можно было и расстреливать парламент.

“*Лучшие из поколения, назначьте меня трубочом*”, – взывал Евгений Евтушенко к поколению Юрия Гагарина. “Назначили” его трубочом, не подозревая, что в недалёком будущем он напишет поэму “Тринадцать”, главная мысль которой заключается в том, что никакие они не строители социализма, никакие не победители фашизма, а всего лишь навсего спившиеся и опустившиеся “совки”, отребье общества, достойные того, чтобы исчезнуть из истории России, чтобы тёмной ночью их безымянные тела были погружены на баржу и отправлены в неизвестность. У жертв ГУЛага есть хотя бы Бутовский полигон. У этих же тринадцати ни креста, ни надгробного камня, ни холмика травяного, словом, ни дна, ни крышки. А что касается пролитой крови, то, как писала Валерия Новодворская: “*свежая кровь отстирывается хорошо. Они погибли от нашей руки. Оказалось, что я могу убить и потом спокойно спать и есть*”. Одновременно она же перечислила 12 подвигов “Геракла социализма” Евгения Евтушенко, принявшего из её окровавленных рук венки своей славы. За какие же подвиги вручила Новодворская венок поэту? Подвиг первый – телеграмма из Коктебеля на имя Брежнева по поводу вторжения наших войск в Чехословакию. Второй подвиг – протест против высылки из СССР Солженицына. Третий подвиг – создание “Бабьего Яра”. Четвёртый подвиг – поэма “Братская ГЭС”, глава про Изю Крамера. Пятый подвиг – стихотворение “Танки идут по Праге”. Шестой и седьмой подвиги – поэма “Казанский университет” и “монолог голубого песка на Аляскинской звероферме”. Восьмой подвиг – отказ от ордена “Дружба народов”. Девятый подвиг – фильм “Смерть Сталина”. Десятый подвиг – “непризнание ГДР”. Одиннадцатый подвиг – выступление в августе 1991 года у Белого дома.

Новодворская насчитала одиннадцать подвигов. Но двенадцатым, конечно, следует считать его русофобскую в полном смысле слова поэму “13” с её безгливой ненавистью к русскому простонародью.

Этот, по словам Евтушенко, “зоосад” (“марш-марш назад, // советский зоосад”) по существу выглядит как грубая насмешка над знаменитой строкой Александра Блока – “марш, марш вперёд, // рабочий народ”... Вроде всю жизнь Е. Е. преклонялся перед автором поэмы “Двенадцать”, прозревавшим в образах и поступи русских красновардейцев зарю жизни человечества:

*Что за пламенные дали
Открывала нам река,
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.*

Поневоле вспомнишь Гегеля, сказавшего, что история, осуществлявшаяся как трагедия, второй раз повторяется в виде фарса.